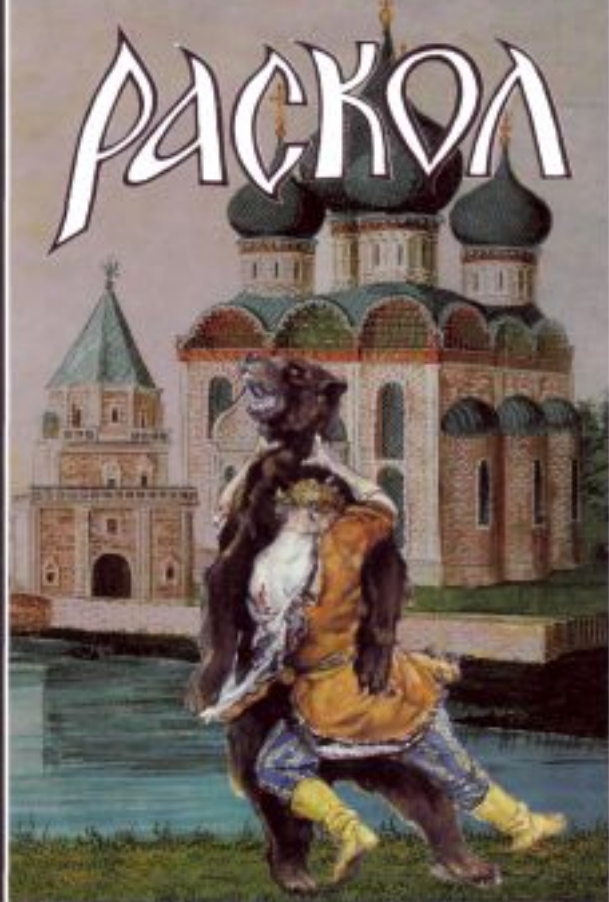


ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

РАСКОЛ



Владимир Владимирович Личутин

Раскол. Роман в 3-х книгах:

Книга II. Крестный путь

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174411
В.Личутин Раскол кн. 3 Крестный путь: ИТПК; Москва; 2008
ISBN 5-88010-243-2*

Аннотация

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола – этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.

Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».

Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц – протопопа Аввакума, патриарха Никона.

Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Содержание

Часть первая	4
Глава первая	4
1	4
2	5
3	10
4	12
Глава вторая	16
1	16
2	26
3	33
Часть вторая	37
Глава первая	37
Глава вторая	39
Глава третья	49
Часть третья	55
Глава первая	55
Глава вторая	61
Глава третья	68
Часть четвертая	77
Глава первая	77
Глава вторая	86
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Владимир Личутин

Раскол, книга II

Крестный путь

Часть первая

Глава первая

1

Благоверная заповеданная держава Божьим изволом обретала себя, вроде бы утраченную навсегда в полонах и невзгодах. Спасительный ветер подул в русские сени. Уже Малая и Белая Русь, исплаканные от долгого шляхетского ярма, позабывшие отеческое предание и веру, глубоко подпавшие под латинянина, с охотою и досель неведомым волнением приклонились под руку государя; уже задунайские словене тайно ковали сабли и молили о спасении, ждали родимого ратника, чтобы сбросить с шеи маету басурманского хомута, и турецкие янычары, с опаскою внимая угрозе с севера, точили хищные ятаганы, давно алчущие крови неверных.

Какими же невидимыми соками напиталось и разом зацвело русийское древо? что за живительные источники вдруг отыскало засыхающее коренье после долгих лет польской осады и крымских набегов? откуда исчерпало полным ковшом непотухающих сил и верного медоточивого, вразумительного Слова, коли смиренный податный смерд, измаянный налогою, сокрушенный жестким воеводским надзором, тугою и кручиною, правежом и дворянской алчбою, внезапно превозмог обиды, расслышав слезное моление Алексея Михайловича, и с неожиданным рвением взялся за войну? И русскому мужику добрым помощником в ратях сыскался украинский черкас из днепровских плавней, стонущий от унии, и послушливый белорусский мещанин.

Навадники и злоимцы разносили по европейским закутам придумки: де, русский и воевать-то не умеет, ему лишь пальцем погрози для острастки, он и серку в кусты; де, Москва едва годится на то, чтоб нам служить, лайно выгребать. И те из дворцовых ближних, кто умасливался Западом, с охотою подхватывали эти напраслины и нашептывали в государевы уши: де, за неверное дело ты вступился, свет-царь. Но с первыми русскими приступами под Смоленск покатила впереди войска иная говоря: русский медведь драться вельми горазд, ему лишь чарку покажи – не остановишь...

Да нет... Наперво потребовалось принять мужику послушание, сломать гордыню, принять сердцем древлеотеческую клятву: «не в силе Бог, но в правде», приклониться под стяг за веру, царя и отечество, чтобы самые малые и самые грешные на сей земле почуяли себя сродниками. И всяк вдруг услышал себя русским, и этого чувства, как и в годы смуты, хватило для победы тем, кто брал приступом Смоленск и Вильну, приплывал под Стокгольм, кто распахивал ворота Могилева и Быхова, кто с малою силою подымался по Енисею под Белый Иртыш, рубя заставы и острожки, кто, испродрогнув до малой костки, волокся тундрами по за Леною встречу солнцу, навсегда распрощавшись с родовою, оставшейся в Устюге, Холмогорах и Примезеньи. Дух устроения, государственного стяжания и земельного приобретения, досель спавший в русской груди, вдруг занялся жарким костром и заслонил, сжег в

себе все насущные потребности и дал сполна той праведной силы, коя оборет в будущем все препоны. Под архангеловы трубы, на ангельских крылах слетел на Русь захватывающий, пьянящий дух движения, что рожден был еще не угасшей свободой, и вся жизнь, прежде дремотная, обрела новый смысл. Не брадатого смерда, не пьянчливого служки, не любопытного воеводы, не охочего до слухов странника и не медлительного купчины вдруг заопасались в вековых сырых замках, срочно спосылая друг по другу посольства; и заклубился латинянин вокруг Польши, и стал срочно сочиняться католический союз, чтобы отвлечь православных от Варшавы; но затревожились паписты от того радостного возбуждения, с каким заподымался с припечного коника сидень-увалень Ильюха. И вот волынки и накры, медные трубы и литавры, приветствуя первые шаги богатыря, до самого Господа вознесли ликующий победный гуд, и в стройном гласе всеобщего единения и частый мор, и глад, и нестроение, и воп по безвременно павшим, и церковный неустрой осыпались с русича, как берестяная шелуха с весенних дерев.

...И в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою.

2

Сердечными словами сопровождал рать великий государь, от коих расплакался не ведавший поражений предводитель войска князь Алексей Никитыч Трубецкой; он облобызал десницу государя и отбил тридцать больших поклонов, с благоговением отступая к притвору Успенского собора. Царь же сказал: «Вы слышали прежде о неправдах польских королей, так вам бы за злое гонение на православную веру и за всякую обиду к Московскому государству стоять, а мы идем сами вскоре и за всех православных христиан начнем стоять, и если Творец изволит и кровию нам обагриться, то мы с радостию готовы всякие раны принимать вас ради, православных христиан, и радость, и нужду всякую будем принимать вместе с вами».

Полчане же возопили, сгруживаясь вокруг царя: «Что мы видим и слышим от тебя, государя? За православных христиан хочешь кровию обагриться! Нечего нам уж после того говорить! Готовы за веру православную, за вас, государей наших, и за всех православных христиан без всякой пощады головы свои положить!»

Государь заплакал и сквозь слезы вымолвил: «Обещаетесь, предобрые мои воины, на смерть, но Господь Бог за ваше доброе хотение дарует вам живот, а мы готовы будем за вашу службу всякой милости жаловать».

Никон же, патриарх, пригрозил служивым: «Если вы не сотворите по сему государеву указу, убоитесь и не станете радеть о государевом деле, то воспримете Ананиин и Сапфирин суд». Боже, Боже милостивый! уместен ли тут пример об еврее Анании, солгавшем апостолу Петру? Ведь нынче всяк из начальствующих был искренен и далек от неправды, и готовно бы взошел на плаху по цареву изволу. Даже сам Алексей Михайлович выступил из царской сени, как смиренный боярский сын, выслушал наказ патриарха, снявши парчовую шапку и низко опустив голову пред духовным отцом, и вдруг не сдержался, шагнул встречу Никону и уткнулся лицом в златокованные ризы; как родимого сына приобнял патриарх государя за покатые мягкие плечи, покрытые простецким темным зипуном с собольей опушкой, а после и погладил его по каштановым, тяжело льющимся волосам, сглатывая неожиданный комок, запрудивший горло. Алексей Михайлович, позабывшись, торопливо поймал ускользающую руку святителя, пахнущую воском и французскими водками, приник к шершавой, расплющенной ладони мокрым от слез лицом, впитывая губами монашеский дух, и замер. Веком такого не видала Русь, а увидев, еще больше возлюбила и отца отцев, и свет-царя. Собор вздрогнул, тайно охнул, и тут будто сотни голубей слетели в придел с голубого церковного неба, с пригоршни Савао; многие из бояр не сдержали восторга и пали на стылый железный

пол, похожий блеском своим на камень-графит. А рака святого Петра в алтарной источила миро...

И редкостное чувство добросогласия, что незримой пеленою окутало молельщиков за отечество, вслед за ними пролилось из собора на паперть и залило всю престольную до самых маковиц сорока сороков церквей. И все, кто прямо от дворца нынче отправлялись на рать, — двоедушные и троедушные, злокозненные и злохитростные, лукавцы и проныры, вечно празднующие труса и последние известные на Москве злыдни жестокосердые, даже они, пусть и на короткое время, проходя пеши в военной сряде мимо двух великих государей, стоящих на примосте, вдруг позабыли застарелую зависть ко всему на свете и заполнились такой любовью к ближнему, такой готовностью пострадать за отечество, такой легкостью в жилах, отчего готовы были взлететь над святым Кремлем. И та нужда, что подстерегала впереди, та походная сухоядь и неустрой, и дорожная тягость, и, быть может, скорая смерть от шляхетской пики казались совсем нестрашными.

И неуж в каменной скудельнице скоро испротухнет и исшаает этот благородный душевный порыв?

Обычно на лице государя зори цветут, а сегодня он бледен, с голубой тенью в открылках носа и с густой, вроде бы больною испариной лихорадки в отеках подглазьях от близкой слезы; правую руку Алексей Михайлович простер над войском, слитно колышавшимся под переходом, как бы касаясь каждой головы, покрытой иль железной шапкой-мисюркой, иль шеломом с забралом, иль пуховую шляпой с лебяжьим пером, иль стеганым ватным колпаком. С пира да в поле, на скорую брань: еще густой стоялый мед, коим потчевал государь служивых из своей руки, не просох на рыжеватых приспущенных усах. Левою рукою царь стиснул до ломоты в козанках кривой турецкий двуострый кинжал, туго вогнанный в кобуру из слоновой кости. С этого часа частыми станут рати и не всякая в успех; многих ополченцев примут чужой полон и мать — сыра земля; но эта первая минута благородного ликования, когда за православный люд, пригнетенный унией, отправился страдать москвитянин, напрочно осекется в царской груди. Запечатать бы это неповторимое чувство в такую дубовую скриню за секретный замок, чтобы до смертного мига не иссохло оно. Ибо впервые не только молодой государь высился сейчас на рундуке, опушенном красными сукнами, но вождь, несомненный победитель с Божьего изволения, воинский уставщик, вожатай, предводитель и солдатский отец; его простоволосая голова, казалось, доставала самого майского влажноватого неба, густо испятнанного сизоватым с исподу каракулем облаков, похожих на янычарские шапки, ускользающие от русской сабли. Годите, годите, бритоголовые: пока по шляхетскую чуприну отправился русский меч, но скоро и до вашего затылка, за изгиль над православным людом, доберется беспощадный шестопер. Слышу вас, мои задунайские детки, слыш-шу-у, Царь-град! Да поможет мне Господь всех вас принять под свою десницу. Чую в себе такую силу, и скоро Владимирская Божья Матерь утрет ваши неутешные слезы.

Далеко загадывал русский царь и сам собою гордился. Под шелковую котыгу, распахнутую на груди, забирался тонкий податливый ветер, выстужал жар, и каждая телесная волоть жила легко и ласково. Никогда еще Алексей Михайлович не чувал себя таким здоровым и прекраснодушным: ему нынче же хотелось сесть на коня и возглавить полки, и он даже позавидовал идущим к Пожару ополченцам, рейтарам и драгунам, стрельцам и солдатам, боярским детям и стряпчим, что вот они уже в походе, они сейчас иные, напроць выбитые из ровной затрапезной жизни и по его, государевой, воле втягиваются послушно в дорогу, о которой он знал лишь из досужих побасок. Никон патриарх размашисто кропил войско святой водою, слегка оттесняя царя широкими златоковаными ризами, и капли влаги, относимые ветром, попадали государю в лицо, и он, забывшись, слизнул несколько святых даров с уса, чуя от них пряную сладость: воистину нектар, миро, подымающее мертвых из ямки, целебный источник, по благодати Божией стекающий с небес...

Восемнадцатого мая выступил и сам государь вместе с дворовыми воеводами и боярами Борисом Ивановичем Морозовым и Ильей Даниловичем Милославским, и во все время, почти с год, сулилось им непреходящее военное счастье. Сон в руку: взобрался же тогда государь на тую каменную стену, гонимый ворогом, за которою оказалась неведомая райская страна. И ныне неприятель всюду бежит прочь, и те злоимцы, схитники православия, сатанины угодники напрасно тянут презренную жадную руку к пространной московской обильной земле.

...И отняты были и Смоленск, и Гомель, и Полоцк, и Витебск, и Вильна, и шведам закрыли ход по Двине в Ригу, и шляхта, спесиво кличущая Русь страной барбаров, давно позабывшая свои словенские корни, и православную веру, и общий исход через Палестину, поприхла в родовых замках и маетностях Варшавы и Кракова, сквасилась, теряя родовые поместья. Почитайте, панове, не кичливого, но смиренного, ибо в смиренном почасту дух Божий живет.

Вот и государь обратился к ратным людям со сказкою, видя, как Белая Русь и Украина встают под его руку: «Пресвятая Богородица изволила Своим образом воевать Литовскую и Польскую землю, и не могут нигде противу Нее стати, ибо писано: лихо против рожна прати...»

И праведная война прибавляет не только земель и гордости, но и страданий и кручины: война для иродовой дочери Невеи – долгий праздник. И потянулись с западных земель увечные и клосные, язвенники и нищие, калики переходные и погорельцы, сироты малые и вдовицы, кого война живота последнего лишила иль убила чуть не до смерти. Московитам-то еще долго брести-ковылять по Руси до родного пещища иль до монастырской келейи, до родового погоста, покато приберут иль убегут в домовину сродственные руки. И на всякой паперти по всем церквам, под волоковыми оконцами деревенских изб и по слободам скоро приросло милостынщиков, а значит, не заскорбеет русская душа, протягивая увечному грошик, иль калачик, иль просто ковш воды из студенца: запей хворь, солдатик. Богаделенки и странноприимные дома, что взялся устраивать жалостник окольничий Федор Михайлович Ртищев, приняли лишь горстку раненых страдников, и, горюя вместе с ними, Ртищев не только подголовник с походными деньгами истратил, но и еству, и кибитку отдал под испробитых ратников...

Вот всегда так: коли горести рекою льются, то подаяния тощим ручейком. Ибо горе горя прибавляет. Не вздохи строят душу, но милостыня. И не жаль бы, но откуда взять хоть медной полушки, когда на отдаленные от войны земли (и неуж в отместку?) пал такой повальный мор, что и отпеть-то покойника было некому, не то повопить у ямки.

Знать, с Божьего попущения на испытание православных скинулась на великую Русь огневица, упреждая грядущий разброд. (С Москвы началась холера. В государевых палатах и на казенных дворах, где всякое царское платье хранилось и рухлядь, окна глиной замазали, заложили кирпичом, чтобы ветер не проходил с дворов, где обнаружилось поветрие. Но и в царевы Терема, за Кремлевские стены по Золотому и Красному крыльцу нанесло-таки хвори, и во трех дворцах осталось дворовых всего человек с пятнадцать. Сентября одиннадцатого числа умер царев наместник на время отлучки Михаила Петрович Пронский, следом преставился боярин князь Хилков, перемерли гости, бывшие у государевых дел, из шести приказов и одного стрельца в живых не осталось; закрыли лавки и торговые ряды, ибо некому стало сидеть там; в Чудовом монастыре перемерло 182 монаха, в Вознесенском – 90, в Ивановском – 100; в хоромы знатных московитов в великом числе упокоилась дворян. У боярина Морозова умерло 343 человека, осталось 19, у князя Алексея Никитыча Трубецкого, что увел войско на шляху, из 270 осталось восемь дворовых. И так во всяком житье лишилась царева знать многой своей челяди, а черные сотни и слободы погребли своих мастеровых. Из тюрем

проломились на волю разбойники, бежали из города, и некому было их унять. В Кремле затворили все ворота и опустили решетки, оставили одну калитку у Боровицких ворот, да и ту на ночь запирали. Всюду жгли частые костры, расставили сторожи, засекали засеки, но и при всех этих предосторожностях выскользнула огневица из престольной на Русь и поразила поначалу ближние деревни, а после перекинулась на города и давай гулять, минуя заставы. В Костроме умерло более трех тысяч, в Калуге – две, на Новгородчине проводили на Красную горку за пять тысяч. Воистину радость без слез не живет. Смоленск родовой переняли с бою у Литвы, но затем почти полностью отвезли на погост Тулу, Переяславль-Залесский и Переяславль-Рязанский. Полченцам с бою в дома возвращаться, а там сиротская паутина в углах.)

Алексей Михайлович медлил попадать в Москву, хотя неотложные государевы дела ждали. Да и от морового поветрия столица во гноище уронена, и народишко душою выхудал, позабывал Господа. Те мужья, кто от жен постриглись в дни холеры, иль жены от мужей закрылись в монастыри спасать душу в последние дни, после огневицы вдруг кинули кельи и вернулись обратно в дома свои, забыв о монашестве, и стали жить, как муж с женою, а не как брат с посестрией. Многие постриженные завели торговлю, пьянство и воровство умножилось. Валится-рушится великий дом без надзору.

Хватит, утешился государь воинской славою, у него и медвежеватая валкая походка приотвердела, взгляд выстудился, и властные морщинки высеклись в приокаменевших губах. Победы не пригрузили, не пригорбили Алексея Михайловича, но выпрямили вдруг. От роду полный, мешковатый, с бабьими опущенными плечами, за год войны приусох слегка, но и призасалился кожей от долгой несвичной жизни в шатрах, выстарился от ветров, осенних холодов, военной тревоги, опасности, постоянных забот и сухояди. Ему домой вдруг захотелось, в Терем, к жене и детям, побыть в государевой Комнате одному, окунуть лебяжье перо в серебряную черниленку и посочинять иль поразмышлять над греческими философами. Царь приустал от пушечного гула, постоянной крови, потока раненых, от склок и свар домашней челяди и дворовых бояр, что неотступно были возле. И лишь походная крестовая палатка не давала заскорузнуть душою. Здесь, в походе, он еще более возлюбил Бога и ощутил свою малость, провожая обозы с калеками, протягивая умирающим руку свою для целования, и прощальный студеной отпечаток смерти еще долго хранила в себе кожа.

Война сделала Алексея Михайловича мужчиною и dokonчила характер.

В прежней жизни он не чурался опасностей и не праздновал труса, с кинжалом хаживал на топтыгина; во Дворце он всегда провожал усопших в последний путь, почитая это за высший Божий знак, и хранил в душе последние знаки уходящих из мира сего; но здесь, на первой его войне за православных, он сам отправлял своих холопишек на смерть и как бы брал на себя перед Спасителем тайный обет за каждого, кто покидал бранный мир, отплывая на суд Божий. Но в душе-то оставалась какая-то мелкая суета, де, чур-чур меня! Да так ли он понял глас Божий, замыслив войну? Сносить ли ему недремлющую совесть, отягощенную кровию челядин своих?

В конце октября государь приехал в Вязьму и здесь решил переждать моровое поветрие. За первым же гостевым столом, составленным накоротке, из ближних бояр, вдруг поселялись слухи о Никоне: дескать, хочет святитель заместить собою государя, высоко мостится и пушит перья. И, де, ходит по народу сказка, будто явился на Москве обманщик великий, ближний предтеча антихриста, патриарх Никон, овчеобразный волк. Де, в окно из палаты нищим деньги бросает, едучи по пути, из кареты золотые на дорогу мечет и плакать горазд. А мир слепой хвалит его, де, государь миленькой, не бывало такого от века. А бабы молодые и черницы в палатах у него временницы, тешат его, великого государя пресквернейшего. А он их холостит, бабоблуд. А они, ворухи, идут от него веселы с воток да меду песни поют да хвалятся, де, у патриарха вотку пили... И многие в подпитии великом, кого патриарх, в

отсутствие государя, худо приветил во Дворце, иль заставил ждать в сенях, иль протомил в передней, нынче смеялись гораздо, ведая тихость государева сердца: от победной войны царь был нынче милостив и щедр. Алексей Михайлович, передавая званым кубки с романеей, прятал глаза и чувствовал себя неловко; он и хотел бы сурово пресечь сплетни, чтобы неповадно было лить колокола на собинного друга, но что-то и сдерживало его. Он тайно понял, что ему приятно слышать поклепы. И то, что сразу не оборвал ближних бояр, не дал злым языкам укороту, делало его не то сообщником слухов, не то заговорщиком.

Вскоре в Вязьму из Колязина прибыли сестры и царица с детьми; из Троицкого монастыря перебрался патриарх. Государь при встрече, приобнявши Никона, откинулся головою и пристально посмотрел святителю в глубокие стоялые глаза и, смутясь своей подозрительности, порывисто расцеловал Никона троекратно по-русски и громко, радостно возгласил его спасителем, своим отцом и великим государем. Вечеру они пили за здоровье друг друга, обмениваясь кубками, и стол закончился поздней ночью. И слух, навеянный подговорщиками, вроде бы выветрился из головы государя, и он снова, как прежде, любил и почитал собинного друга, удивляясь его уму. А речь шла о войне, и патриарх принуждал силою духа своего до конца воевать Польшу и Швецию, брать Ригу и Стокгольм. Но тайная вина точила государя, и, сознавая свой грех и томясь его, он уже не с прежней откровенностью сердечной уединялся с Никоном для бесед.

Артемону Сергеевичу Матвееву, любимцу из дьячих детей, государь каялся, как пред исповедником: «Речет великое солнце пресветлый Иоанн Златоуст: не люто есть спотыкаться, люто, споткнувсь, не подняться. Добиваюсь зело того, чтобы быть не солнцем великим, а хотя бы малым светилом, малою звездою там, а не здесь. И в том не осуди, что пишу: нечист от греха, потому что множество имею в себе, а о том возбраняет ми совесть писати, что чист от греха: ох люто так глаголати человеку, наипаче же мне, что чист от греха».

Февраля десятого дня 1655 года Алексей Михайлович переехал с семьею в Москву, чтобы приложиться в Успенском соборе к мощам святого Петра-чудотворца; бояр и всех горожан обвеселить от печали и кручины, в кою глубоко пала престольная; семью обустроить во Дворце, наладить чин и сряд, подновить сени, повалуши, мыльни и каменные переходы, заново опушить сукном окна и двери, сквозь кои струился смрадный ненасытный дух огневицы; и опочивальню оживить, да в мирной тишине и любви затеять в чреве Марьюшки то желанное дитяtko, кому бы с охотою передать свое место.

И всяк христовенький решил еще задолго от Москвы встретить государя, облачась в лучшее цветное платье, прожаренное от холеры, и каждая церквица, имеющая медное петье и сохранившая служку, целый день раскачивала колокола. Был бы только жив и здоров государь, да чтоб беспечальна была его родница, и чтоб всяк из служек был приклончив к нему и верен, а там и царство осилит любую тугу и немочь, хоть тыщи драконов слетятся с бранью на русские просторы. Едет-попадает царь-свет, сам Господь спосылал на него военные удачи и милости; восстала из долгого полона Малая и Белая Русь и вошла в словенскую православную семью! Ну как тут не воспеть радостные стихиры и не восславить Спасителя нашего! Пируйте, многопировники, ублажайте черева ненасытные, многоядцы; источайтесь в ложных улыбках, лстивые и сладкоголосые, – все простится вам в светлый день.

...Искрящийся игольчатый снег с легкой струистой поземкою, будто беленые холсты скатывают в трубы с равнин в лощины и распадки; песцовыми хвостами поносуха свивается вокруг расписных катанок, забиваясь в укромные под подола и бодря плоть; сугробы уже по-весеннему бусеют в отрогах, и сквозь рыхлую покать бездонных забоев пробивает ранняя лимонная желтизна; щемит взор белизна венчальных покровов, в кои облачилась невеста-Русь, сокрыв шелуху грязи, скорби; близкая восторженная слеза копится во взоре от напряжения, с каким вглядывались посадские за мреющую излуку в иссиня-черную медвежью шкуру леса, откуда должен появиться государев обоз.

«Едут-едут!» – вскричали дозорщики, всползшие на вековые дубы, и, рискуя разбиться, посыпались с гляденя вниз, когда показалась за головным стрелянным стрелецким полком цветная каптана с ближним стольником на ухабе и первыми боярами на наклестках грузных развалистых саней с широкими обводами, глубоко увязающих в сыпучие хрусткие снега, недолге приутоптаные передовыми поезжанами и вновь разбитые в кашу ратными коньми. В избушке изузоренных саней за слюдяными оконцами в серебряной оплетке, угретый собольей одеяльницей, впервые сидит рядом с великим государем и Никон патриарх, так щедро обвеличенный собинным другом. И стало на всем пространстве зимних примосковских полей вдруг тесно и жарко, как тесно бывает в груди, переполненной чувств. И повалился люд православный в снег, счастливо возрыдав и за жаркой слезою не видя ничего окрест, кроме луны и солнца, разом воссиявших в дневном небе. И неведомо было, кто кого затмил нынче...

А спустя три месяца Алексей Михайлович в глубокой тайне снова съехал на войну, чтобы приступить к литовским городам.

Да и было от кого таиться, ибо Русь, отбитая от Речи Посполитой и Литвы, кишела лазутчиками, шпыни подгородные, подговорщики и шиши скрадывали государевы затеи, чтобы верно знать замыслы царя и пути войска. Попадали в Русь проныры и под видом купцов, и служками посольских обозов, и в патриаршских милостынных походах, скрываясь под монашьей мантией иль диаконской рясою, и в шляхетской епанче польского дворянина, скинувшегося в войну под милостивую государеву руку. Папа римский мостил тропы и дороги в Русь, уже не в силах подпятить ее под себя: он страдал, ибо терял вдруг добрый униатский ломоть от католического пирога. Австрийский посол цесаревича Фердинанда Аллегретти пытался выведать в приказах, куда царскому величеству из литовских нововзятых городов поход будет. На что думный дьяк ответил: «Нам царского величества мысль ведать нельзя, да и спрашивать о том страшно». На это Аллегретти сказал: «У испанского короля однажды войска многие были изготовлены и корабли воинские, спрашивали у него ближние люди: куда он эти корабли и войско изготовил? Король отвечал: что у него сдумано, того им ведать не надобно; если бы он ведал, что рубашка его думу знала, то он бы ее сейчас же в огонь кинул. Но не хвалился курицей, что в яйцах. Он только на коня взобрался, а уж далеко в другой стороне отозвалось, ибо имеющий уши да слышит. По Божьему попущению доброхотное ухо к каждой щелке прислонено. Вот и польский король хотя теперь, кажется, и пропал, только у него друзей много, которые с ним одной римской веры, они, надобно думать, за него вступятся, чтоб вера их римская не погибла...»

3

Легки и румяны новые брусяные патриаршьи хоромы, до аспидного блеска строганные теслом, с янтарными пролысинами от шкуры в мелких пазьях, с волнистым, убраным в косу тонким шнуром пакли: от стен точит, как святым миром, духом еще живого леса – смолкою, медом, иглицей, грибною прелью, землею и солнечным жаром, – всем тем, чем налитан до самых маковиц, до мерлушковых папах, кочующих под облаками, кондовый сосновый бор на песчаном юру; кажется, что горький сок еще струит по глубинным жилам, и стоит лишь прободить буравом мякоть, и оттуда потечет древесная кровь.

Окна выставлены высокие в келеице, весь приклад оловянный, навески медные, колоды опушены зеленым сукном, стекла мелкие, в четверть листа, наискось любопытному взгляду виден Марьюшкин Терем с расписными флюгерами на башенках, волоченных листовым золотом. Никон задернул завесы тафтяные и не сдержался, приложился щекою к стене и почувствовал себя счастливым. И откуда приспела такая блажь? Едва превозмог,

чтобы не лизнуть древесную мякоть. Но, увы! Живой монах – повсюду скиталец и временник бездомный на грешной земле: куда приклонился, оприютясь, где замгнул глаза, подложив под голову скуфейку, но и сквозь сон помни: здесь надолго задержаться страшно, ибо надобно попадать вскоре в сокровенный Дом, насильно не укорачивая путь. Эй, монас-монасе, очнися, не потрафляй меркнувшим телесам, ибо счастье ты помыслил в земном прахе, забудя о вечном. Кто окрикнул? Чей глас потревожил пряную тишину келейки? И осек себя Никон, но улыбнулся, смежив веки, как бы уснул по-коньи. Грешен, грешен, Солнышко наше, утонул я в гресех, аки остарелый лось в павнах, смертно укладывая седую бороду на травяной жесткий клоч.

...Только что со всенощной; вроде как едва прибrel, волоча остамелые ноги, отекие в сафьянных сапожонках, будто попритухлые оковалки чужого мяса волочил, не чуя стоп. Но виду-то не выказал синклиту, и, как исстари ведется, выступив из ворот матери-церкви, позабылся, низко поклонился Марьюшкиным цветным оконцам, хотя царица с детьми, укрытая запонами от сторонних глаз, получив благословение, только что скрылась в каменном переходе, и от горностаевой мантии, от снежного невесомого щекотного меха на ладони патриарха остался ласковый след, вроде бы гагачьим пухом мазнули.

В девятом часу ночи вступил Никон в настуженный зимний собор, и пока вел чин в окружении шестнадцати иереев и антиохийского патриарха Макария, пока славил святого русского митрополита Петра, ибо в его честь нынче во всю долгую ночь пели священные стихиры, он вроде бы летал с амвона в алтарную, в ризницу, к престолу и жертвеннику, не чуя стылости в руках; и ни разу в сень патриаршую не скрылся, чтобы обогреть ладони серебряным шаром, наполненным горячей водою, но, как искренний Христов воин, вел церковный корабль сквозь пучину; и гремя цепями кадиланицы, задирая в усердии лопатистую с проседью бороду, так что через аксамитовую фелонь выказывался окраек морщиноватой, пригрубой, уже стариковской шеи, Никон, однако, зорким взглядом успевал обметать всех молитвенников и оценить их прилежность, даже тех, кто затенился в сумерках притвора и в самых дверях.

В южных вратах алтаря высился государь, и при каждом взмахе кадиланицы, обращенной к нему, на всякий сизоватый облачек выпархивающего благовония он согласно кивал головою, размашисто крестился, гулко брякая в лоб и плечи, и туго сжимал в горсти бархатную шляпу. Никон любовно озирает государя, и у него всякий раз влажно таяло в груди, когда видел перламутровый блеск в его глазах от близко подступившей слезы. В северных вратах за пологом молилась Марья Ильинишна с детьми, виднелась лишь ее остроконечная червчатая шапка с крохотным золотым крестиком в обвершьи: крестик то выныривал из запона, то снова упал, будто царица поддразнивала святителя.

Густой бас архидьякона Григория напитывал ночную церковь особым благоговением; присадистый, щекастый, с ранними брыльями и крутой грудью, он умело играл голосом, и от его пространного размашистого пения моельников почасту пробирал мороз. И никто из мальцов, кто пришел на всенощную, не только не подал усталого гласа, но и не перемолвился с матерью, жалобясь; не только не затеял детской шалости, но и не переступил с ноги на ногу. Лишь свита антиохийского патриарха Макария, прислуживающая в алтаре, несвычная к изнурительной здешней службе, маялась и кряхтела, порою забыв и лба окстити; сирийцы с тоскою глядели на врата, куда бы можно потиху удалиться, и про себя кляли стужу варварской страны, и всенощные бдения по семь и восемь часов кряду, и железный пол, от которого судорогой сводило спину, и выносливость москвитов с их непомерным благочестием, так непохожим на греческое, и долгие их посты с непременно огурцом и грибами, и царя с царицею, что неиссякновенно молились во вратах алтарной, как бы заперши там служек навечно...

4

Миленький патриарх, не упадай в прелести! Иль запомнил Филофея-старца наущение: де, страшися уповати на злато и богатство исчезновенное, но уповай на Всеведающего Бога. Давно ли ночи твои были молитвенным подвигом; едва тонким сном забылся вслед за куроглашением, едва приткнулся на бумажный узкий туфачок, подсунув под щеку тугое сголовье, набитое овечьей шерстью, едва к правому боку подноровил лавку – и, кажется, сейчас беспмятно умрешь до зари; но куда там, уже в ливера будто кто шило воткнул. И снова ты на молитве, зоркий до ночных врагов; и затушив от соблазну все елейницы и свечи в стоянцах, оставив лишь слабую лампадку пред образом Спасителя, принимаешься, сердешный, неустанно честь Иисусову молитву по Златоустову чину, коя изрядно пожирает и самое крутое сердце.

А нын-то что содеялось с тобою, кир Никон? Какая блазнь и наваждение посетили твою строгую к монашеству натуру? Ведай, чернец, змея неслышно струит в осоке, но смертно разит. И сразу напрасны все прежние подвиги и воздержания.

Не только по Арсенову искусу, но и по твоему согласию нарушилась отеческая, заповеданная для души молитва Ефрема Сирина, с коей рождался и умирал русич, и вдруг переиначились главные завещательные слова, высеченные на скрижалях, столь согласные со славянским характером: «... дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене». Кто надул тебе в уши, будто перемена в словах сущий пустяк? Не от Паисия ли грека пошла смута, не он ли вдул в тебя ветер перемены, обещая тебе цареградскую Софию? И залюбил ты, батшко наш, сладко ести, красно наряжаться, широко ездить, праздно и подолгу говорить, боевые топорки строить и военные подводы доправлять для государя, бояр струнить в сених, рати сряжать и послов в иные страны по мирскому делу пускать. Высоко же ты воспарил, Никон, коли взялся за суетные земные хлопоты. Не собрался ли ты воздеть на захмелевшую от почестей главизну рогатый латинский колпак и во всем последовать папе? Солнце пресветлое, Христов воин, и не поймешь ты, как однажды иссякнет в тебе монах, но заместит его греческий меняла. Лишь поддайся навадникам и шептунам, де, там-то не так положено и плохо помещено, иль не имеет существенного смысла, и что можно переменить в вере без ущерба, но к единой лишь пользе и простоте – и вот умаслившись этим, уловившись на видимую простоту перемен, ты вдруг и упадаешь в ту злокозненную трясиину, откуда выбраться нет мочи, ибо с каждой попыткой увязаешь все глубже; и когда посетит тебя прозрение, то уж все, поздно, пропал, христовенький, засосало в болотину с макушкой, и нет вокруг подмоги, и неоткуда звать.

Вот он, искус... Еще хоромы не обжил, еще ни разу не ночевывал, а уж кобь и чары самолично впустил в моленную. Возле двери на конике лежит клубок греческого переводу, ныне поднесенный за-ради новоселья в новой Крестовой палате патриархом Макарием, да тут же и шапочка греческая, подаренная сербским патриархом Гавриилом. И ранее не однажды уже польстился Никон на цареградский убор, нет-нет да тайком и примерит греческий клубок, а уставясь в зеркало, всякий раз удивлялся переменам, что случались с обли-чем.

Чем же тебе не по нраву русская вязаная скуфейка? Строга? Иль неприглядлива? Обжигает лоб и малит лицо? Не полагает должной осанки? Иль запомнил, сердешный, что этим клубком, похожим на шлем древнерусского дружинника, издревле покрывались все монахи-подвижники, полагая себя за верных воинов Христовых. Бедный, бедный, иль красоты земной возжелал и вовсе духом упал?

Хороша, урядлива, патриарх, греческая камилава с золотым херувимом и просторным шелковым кукулем, воскрыльями ниспадающим на плечи: она так благородит твое морщи-

новатое, обросшее волосом лицо. Откинь сомнения, Никон, если живешь надеждою сесть на цареградскую стулку, напяливай чужую шкуру, коли не жмет она и не теснит душу. Но помни, что извечно сулят греки русским государям византийский престол, а святителям – патриаршью шапку. Боится Европа турка и ищет подмоги со стороны, а греки изнемогли под агарянами, иссякли духом и верою, растеряли досюльные привычки и былую православную гордость, почасту бывают у папы, целуют его туфлю, и даже их учителя-богословы впали в тайное униатство, питаюсь науками с латинского стола. Опираясь на киевского митрополита Петра Могилу, коего ты издавна чтить, но кой презирает русских, они давно уж замыслили испроточить русскую веру и подкопать державное коренье, чтоб свалить великана. И даже доправщики книг, коими ты с Ртищевым окружили себя – и Сатановский, Славинецкий, и Полоцкий, и Максим Грек, – все они тайные униаты-базилианцы, исповедующие римские науки.

Ведомо ли тебе, что викарий всего севера, папский легат Антонио Поссевино, приехав в Москву, вручил Ивану Грозному книгу о Флорентийской унии, богато украшенную золотыми буквицами, и этим подарком намекал, что все беды России легко исправить, если русские примут унию, целуя туфлю с ноги папы. Легат Поссевино сказал государю: «Если ты соединишься верою с папой и всеми государями, то при содействии их не только будешь на своей прародительской отчине в Киеве, но и сделаешься императором Царьграда и всего Востока».

(«Из инструкции иезуитов самозванцу, как ввести унию в России».

...д) Самому государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтоб не от него началось дело, а пусть сами русские первые предложат о некоторых неважных предметах веры, требующих преобразования, и тем проложат путь к унии.

е) Издать закон, чтобы в церкви русской все подведено было под правила соборов отцов греческих, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии: возникнут споры, дойдут до государя, он назначит собор, а там можно будет приступить к унии.

...з) Намекнуть черному духовенству о льготах, белому о наградах, народу о свободе, всем о рабстве греков. Учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей ученых...»)

И царь Иван ответил на лукавый соблазн: «Что же до Восточной империи, то Господня есть земля; кому захочет Бог, тому и отдаст ее. С меня довольно и моего государства, других и больших государств во всем свете не желаю».

Эх, батюшко Никон, чем замстило очи тебе? Иль не разглядел волка в овчей шкуре? Филофей-старец как научал: «Если стены и столпы, и полаты великого древнего Рима не пленены, зато души их от дьявола были пленены опресноков ради».

Нынешний царь сызмала шатается; еще в юные леты внушили ему греческие подсылщичики, что отирались при дворе, де, искание цареградского престола – дело святое, даже жертвенное, к чему призывает сам Бог. Иль не чуешь, отче, как скоро предаст тебя Алексеюшко ближней своей челяди, как не однажды отдавал толпе комнатных бояр, чтобы оберечь себя. Государи чтят Господа хвалимого, но боятся смерда.

Батько, батько! Сравнить ли твои новые брусяные хоромы с псковскими пещерами в горе, где живут монахи, и братии той сладко и неистомно рядом с каменной скудельницей; тамо гробы составлены поленницей, но от них не тленом пахнет, но точит миром и нардом. Вот где воистину святая жизнь подвижника. Отринь, Никон, румяные стены Дворца!

Как задумал Никон, так и соорудил ему палаты мастер-немчин, учтя всякую малость, похожую на каприз. Вот любит Никон тепло, и под брусяными келеицами в нижнем жиле, рядом с приказами, уряжена огромная кухня с печью, и тепло от нее по продохам в стенах пронизывает весь патриарший Дворец. Сейчас там затеяна челядинниками стряпня, в Крестовой палате ладят кривой стол, после литургии звано к святительской естве много гостей.

Будет и государь с синклитом. Коли ты на экой вышине числишься, то невольно, порою позабудя монаший чин, станешь терпеливым, уживчивым многопировником, ибо гостеванье в праздничный день не только угодно Спасителю, не только ублажает утробу, но и мирит людей, устраивает средь знатных богомольников общий лад: и кубок со стоялым медом, поднесенный из патриаршей руки, и самого недовольного заставит умилиться и вспомнить близость первосвятителя к Господу.

Ествяный дух проник и в новые покои, и от сытного запаха, от теплых волн ожил патриарх и каким-то ублаженным, светлым взглядом обвел Комнату, в коей предстояло отныне жить, и не душою, но тайным, в глубине плоти сохранным чувством вдруг понял, что этот Дом его, и ничей более. Скитник, келейник, пустынножитель, он, оказывается, мечтал все эти годы о своем Доме: и морошечного цвета скобленные стены с полицами, уставленными образами, и скользкая перламутровая столешня, выложенная в шахмат, кою он задумчиво оглаживал ладонью, отвлекли от смутных предчувствий. Уже как хозяин, он ступисто миновал кельи, строго проглядывая весь чин, проверяя, так ли ладно, как замыслил хозяин, уставлено житье. Вдоль стен придвинуты широкие дубовые лавки под суконными полавошниками, в углах поставцы с дорогою посудой, уборами и разной ларечной кузней, крестами и с судовой казною; были шкафы с полками и выдвижными ящиками, где хранилось белье, помещалась бумага, писчий снаряд, рукописные и печатные сокровища, кои сразу отделяют человека высокого полета от человека среднего толка не по знатности рода и не по богатству, но по досужести. Досужий, – говорят про иных, – многомысленный человек, он сполна окупился в реки, напояющие вселенную... Книга уже сама по себе, лишь присутствуя в хоромах, одним своим видом, благоговейным чувством, исходящим от нее, выделяет владельца из прочего люда. А если это воистину книгочей? Да ежели он познал неоцененность этих сокровищ, как кладезь премудрости, коей не заместить ничем?

А Никону было чем похвалиться: множество псалтирей, часовников, миней, священных хартий, доставленных для справки Арсением Сухановым с Афона, стояли на поллицах; были тут и веницейского, и римского, и греческого печатания книги, польские и парижские ведомости, древние риторики и филозопии, и богословские поучения восточных златоустов, куранты и сказки из мировой жизни, а всего с любовью и ухажестью хранилось в шкафах и на вислых полках более тыщи книг в столбцах и свитках, в телячьей коже и деревянных досках, битых от старости жучком и тленом, со страницами, тронутыми по кромке шафранно-желтым пожаром, ссохшихся пожухлых пергаментов и берестяных грамот.

А еще заполняли собою Комнату резные шкатуны из слоновой и рыбьей кости и дубовые кованые подголовники с тайными замками, полные золотой монеты, ларцы и пульпеты для богатых даров от архиреев, и знати, и прихожан. Жизнь вроде бы проходит быстро, но течет медленно, чтобы успел устать, и даже за столь короткие годы патриаршества, оказывается, собралось истиха столько вещей, что, привыкнувши к ним, после и вовсе забыл о многих, не подозревая их присутствие возле себя. И только переезд или смерть обнаруживают весь скоп утвари и богатств, вроде бы столь необходимых в быту, но таких лишних, когда собрался на тот свет. Лишь белый саван, сандалии, нательный крестик и зауспокойная молитва уплывают с тобою в мир иной, и в последние минуты с нескрываемым удивлением озирая нажитое, ты вдруг с облегчением чувствуешь полную свободу от него...

Солнце на лето, зима на мороз. Передний угол гулко крикнул от мороза, закуржавленные окна с порошками, полными воды, уже сине замгтели. Декабрьский денек с воробыный поскок. Давно ли развиднелось, а уж и к ночи поворот. Прощальной робкой желтизной наскоро тронуло узорные от инея стекла, сумерки в кельях сразу стали гуще, жарче затеплились свечи: в широко отпахнутые двери, опущенные синим сукном, струился терпкий от ладана и свеч воздух, колыхая кисейные полога, будто кто таился там. Никон собрался было дунуть в свист серебряный, чтобы позвать келейника: пора сряжаться к гостевому столу –

и сразу забыл о намерении. Кряхтя, стянул сапожки с наводнявших ног, в горностаевых чулочках прошелся по натертому вошанкою полу, с радостью впитывая древесное тепло и не ощущая ни одной заусеницы. Плахи не поддались под грузным телом, не скрипнули, ладно пригнанные тороватой плотницкой рукой и углаженные теслом. Эх, как славно, однако, когда покои новые да уряжены по твоему норову, да когда первым вступил в них с охранного молитвой, с любовью вдыхая запах кадильницы, оставленный после освящения, да когда всякой нежити положен предел за порогом хором.

И не суеверно Никону, что пожелал поставить патриарший Дворец на месте несчастливых царевоборисовских палат, а тень государя-доброхота, решившего осчастливить русский люд, бессонно скитается меж Кремлевских стен, отыскивая могилу несчастного убитого сына. Перенял Годунов царскую власть из меркнущих наследных рук, но не удержал в горсти: знать, обманулся сердешный в Господевых посулах, полагая их за дозволение. Но лишь попустил Господь и вскоре же отказал в Своей милости.

Оле! Не так ли и со мною станется? – мелькнула мысль, и Никон усмехнулся над внезапной тревогой. – Пусть клепят, что я самозванец, что самоволкой воссел на государеву стулку, восхитил чужую честь. Пусть точат ножи на бывшего волдемановского мужика, ибо я давно никого не боюсь, кроме Господа нашего, и не труждаюсь ухапливать корыстно то, что усердно собираю для матери-церкви. Это я строю монастыри, книгам даю простору и извожу скверну из них, это я отдаю в учение пастырей многих и церкви Христовой вручил верный посох и надежу в пути. Пошатнулась церковь, а я подпер, как повелел Спаситель, подставил плечо, не дрогнув. Я не Гришка Отрепьев, нет-нет. Но я чернец вековечный и не держуся за стулку, чтобы вкусно есть и сладко пить. Утесните лишь, возьму ключку подпиральную – и только знали меня.

Боже, Боже... Давно ли за радость почитал житнюю горбушку, густо посыпанную солью, и, запив смиренный кус родниковой водою, с трепетной ревностью пел стихиры пред образом Богородицы посреди глубокой ночи, один на весь белый свет, и лишь волки тягучим подвывом нарушали его уединение. И ведь как счастлив он был тогда.

Никон прошел в опочивальню, отстранясь, от порога оглядел всю, богато уставленную, чужую, словно бы боялся прикоснуться к ореховой резной кровати с шатром. Небо кроено из голубой камки, завесы камчатные с бахромою, в головах и в ногах лежа золотные застенки. По-царски богатая спальня, уряжена не по-монашьи, вся подперта соблазнами. Эй, Никон, не страшись: что за вера твоя, ежели боится она пасть от малого искуса.

Патриарх решил и упруго воткнул кулак в двуспальную пуховую постелью с полотняной полосатой наволокой, пахнувшей морозом, и зеленым одеялом из кизылбашского шелка, набитым лебяжьим пером. А помедлив, обреченно взмог по приступным колодкам, обитым червчатым сафьяном, и осторожно присел на край кровати.

И вдруг улыбнулся, довольный собою, внушительно погрозил невидимому супротивнику и гордовато приосанился.

Воистину искренен бывает человек лишь наединку.

Глава вторая

1

Сидя на высокой постели и плотно уставя утомленные плечуны на приставной колоде, Никон, как с престола, позвал келейного служку в серебряный залиvistый свист. Пора собираться к столу. Двое дён у патриарха во Дворце кушанья не было и ествы не держано, и вся челядь, невольню постясь, кормилась косым пирогом с горохом. Как славно, однако: еда остойчивая, да и с музыкой. Помните, грешники: держите утробу в нуже и обретете славу при сей жизни.

Пока Шушера, лоснясь жарким тугим лицом, доставал из шафа тонкое бельё и святительское облачение, Никон, как надломленный, вдруг сронил голову в колени и забылся тонким сном. Долгие ночные бдения и великана оборют. И причудились ему плохо намятая, бродная дорога с рыжими пролысинами санной колеи и крохотная ветхая часовенка остронь, на мыске лесной гривы, давно позабытая всеми, с прохудившейся кровлей. До чего же памятна глазу сия обитель, словно бы вчера лишь покинул ее! каждая кровинка тут вскрикнула, узнавая храмину; и запирая от волнения сердце, кинулся Никон непотревоженной целиною, как сохатый, вспахивая глубокую борозду. Путались ноги в полах долгого шубняка, проваливались по самые рассохи: Никон часто запинаясь и нырял в забой, руками вперед, выдирая из снега голову, чтобы не захлебнуться. Но не диво ли? чем настырнее тянулся Никон к сиротской храмине, тем дальше отступала она за сосновый обмысок. Тут ошпарило лицо морозной сечкой, Никон зажмурился, охнул от боли – и очнулся. Правая щека горела терпко, словно бы нахлестанная метелью.

Очнулся, как бы и не спал; виновато взглянул на Шушера, не заметил ли тот баькиной слабины. Служка копался в рундуке, и его широкая спина, туго перепоясанная кожаным ремнем, была уважлива и послушна. В чреве ценинной печи выл ветер, с жалобою укладывался на ночевую. Опять уж кой день вьет поносуха, ей невмочно терпеть до февраля, и вот она проснулась в декабрьских сутемках, засыпая снегами Москву. Ой, бродно и трудно попадать нынче гостям на патриарший стол, да ежли кто с дальних окраинных слобод, из Скородома, иль из Спасского монастыря, иль с Божедомки. Чтоб угодить к стерляжьей ухе и к просольному семужьему пирогу, и не такие муки перетерпишь. А нынче много званых к обеду: бояре и духовные власти, соборяне и городские чины, стрелецкие головы и полуголовы, гости и сотские черных слобод; почитай, трапеза на всю престольную, и только прислушайся сторожким ухом и уловишь сразу, как тоскливый плач пурги перебарывает дворцовая сутолока. А патриаршьи службы туго забиты всяким чиновным людом, что живет в архиерейском доме и исправно ведет многожилый корабль по житейской пучине. Несут службу архиерейские бояре, выбранные из старинных родов, и дьяки, десятильники, тиуны, праветчики, стольники, кравчие, конюшие, дети боярские и домовая прислуга, ремесвенники и ключники. И самый незаметный челядинник тоже ждет праздничного стола, ибо у хлеба не без крох; широк натурою в этот день патриарх и, конечно, прикажет дворецкому выдать по две чарки вина горячего, да меду белого, да по ковшу пива выкислого. И что не съедено будет из подач, все со стола и с кухни пойдет в еству дворцовой прислуге.

...Вот и сон в руку: попадают, сердешные, на пир к святителю, торопятся, как бы успеть в церковь заповеданную. А кто с душою, уловленной дьяволом, иль с поклепом и тайным умыслом на отца отцев да со лжою на сердце, тем николи не добрести до венца православного, ибо я, Никон, есть явленный образ самого Христа, и кто истинно, без лукавства, приклонится ко мне, тот и спасется в будущие веки.

Шушера не решался потревожить патриарха и терпеливо выжидал, перебирая на конике у порога разложенные святительские одежды. Тут были и порты праздничные из темно-синего английского сукна, и зипун, алый, шелковый, с золотными дутыми путвицами, да мантия из зеленого рытого узорчатого бархата со скрижалями, да белый клобук из камки с крестом на маковике из жемчуга и бриллиантов, и двурогий сандаальный посох с шестью золочеными яблоками.

«Эй, копуха, застыл там?» – властно прикрикнул патриарх Шушере, непонятно чем уязвленный. Недавнее видение скоро померкло, но к столу отправлялся Никон с горчинкою в груди.

«Любит ли меня народ, братец?» – вроде бы в шутку спросил Никон Иоанна утишенным тоном, но голос его предательски дрогнул. Гордыня застала патриарха врасплох, залучила в свои сети, и он не смог совладать с нею. Келейник натягивал патриарху тугие соболя чулочки, стоя на коленях. Он торопливо вознес умиленный взгляд и воскликнул:

«Великий Господине! Разве можно любить иль не любить Христов лик, что светит на небе? Это куда слаже жизни. Так и ты на земле грешной наше пресветлое солнце. Всякий бы почел за счастье умереть тут же, не сходя с места, только бы лицезреть тебя».

«А чего ж ты не помер до сей поры, лукавая твоя морда? – ехидно улыкнулся Никон в толстые усы, брызгая на побитый сединою волос гуляфной водкой из серебряного ароматника. – Все вы так-то похваляетесь, пока батенька на вышине числится. А после и глотка воды не дожидаться...»

Шушера порывисто поцеловал сафьянные башмаки патриарха и прижал к груди: «Миленькой государь! Пусть, как Иеремию, забьют меня в колоду. За тебя все муки снесу, батенька!»

И как в воду глядел Иоанн Шушера, ближний патриарший келейник.

Макарий прибыл в патриарший Дворец в седьмом часу дня. Никон встретил его на третьей лестнице, устланной шемаханскими коврами.

Внизу с улицы гулко отпахнулась дверь, прижатая к стене метелью, и вместе с многим гулом иноземных голосов ворвался в хоромы тугой морозный ветер.

Антиохийский патриарх поднимался тяжело, с одышкою, но, однако, отверг помощь архимандритов. Подол черной мантии с алыми скрижалями подметал ступени. Пуховая камилавка присбита на затылок, лоб, покрытый испариной от талого снега, собрался в тягостную морщинистую грудку. Эх, милый мой, не надо наедать черев! все ублаговоряешь утробу, позабывши келейное правило. Отбей-ка в ночь с тыщу больших поклонов да с тыщу метаний да прикурни на лавке на часок лишь с кулаком под щекою, как изнуряют себя афонские монахи, так сразу же сыщешь в себе самую малую телесную жилку, сейчас схоронившуюся в сале.

Макарий то хватался за точеные перильцы, то подпирал мяса кипарисовым единороговым посохом. Кургузый, чернявый, весь убитый долгой службою, он меж тем не терял присутствия духа: карие глазки его, обведенные ржавчиной морщин, выглядывали из обочий хитро и весело. Так лукавый греческий купец вступает в чужой дом, чтобы за один приход высмотреть будущие прибыли. За Макарием подымался его ближний причетник Павел Алеппский: он нес бедную холодную камчатную патриаршую кошулю, чтобы разжалобить своим несчастным положением первого московского святителя. Следом, как ратники, слитно всходили двенадцать русских дьяконов с зажженными свечами: все ражие, осанистые, с тугой шеей, с багряной зарею во все лицо, нахлестанные декабрьской метелью; сладким грудным пением они добро подмогали сирийскому гостю.

Макарий остановился на ступеньку ниже площадки пред сенями и вытер фусточкой испарину со лба. «Экий циклоп!» – с невольным страхом и почтением в который уж раз поду-

мал Макарий, озирая московского патриарха, и, снявши пуховую камилавку, отбил большой поклон: панagia из перламутровых раковин чиркнула по шемаханскому ковру, увязая в густом ворсе. Рядом с лицом оказались великаны, приплюснутые в переду зеленые сафьянные башмаки, словно бы снятые с медвежьей лапы. Доходят до Европы слухи, де, Никон в папы метит: вот беда, коли придется целовать этот башмак.

Макарий ухмыльнулся и скоренько, пока с натугою разгibasя, согнал улыбку с губ.

Никон же поклонился малым обычаем, протянул ладонь с четками встречь гостю, точно хотел помочь ему, но остановил руку на отлете: искра далекого злорадства мелькнула в темных глазах. И возгласил патриарх рокошущим голосом, словно бы с десятков свирелей затаилось в его гортани: «Оле!.. Блаженнейший владыка града Божьего Антиохии. Исус Христос – это звезда светлая утренняя. А ты закатная звезда Востока, откуда на нас, сирых и грешных, пролился свет истинной веры, и та вера куда крепше адаманта, ежели и на ожесточенном сердце выжигает скрижали. Вчерась православный люд чтит память архиепископа антиохийского Игнатия Богоносца, растерзанного в Риме язычниками. И когда еретики те, насладившись муками сего великого мужа, разрезали и сердце страдальца, то что же они увидали? Изумленному их взгляду открылись золотые письма: „Исус Христос“. Милостивый господине, излей на нас хоть толику той крепости, с какою древние христиане стояли за веру. Лишь твоими молитвами и в страхе пред Господом покинула престольную моровая язва и стих людской отчаянный стон. Ты, пресветлый, прибыл к нам, как некогда Христос посетил Закхея, и когда пообещал торговец раздать нищим половину имения, то сказал Сладчайший: „Ныне пришло спасение этому дому, потому что и он сын Авраама“. Так и ты, милосерднейший, почтя нас, окаянных, принес нам укрепу, чтобы ею подпереть похилившуюся несчастную нашу церкву. И я всего имения не пожалею, чтобы однажды смог воскликнуть, как некогда Закхей: „Ныне пришло спасение этому дому...“

Макарий слушал драгомана, переводящего на ухо, потупясь, шевеля губами, и морщинистые старые уши его с отвислыми мочками зарозовели. Старый воробей, его на мякине не проведешь: Махмет турецкий приучил держать ум остро, но тут гость размяк, расчувствовался, свет довольства пал на рыхлые щеки; наконец-то и москвиты признали греческое верховенство, приклонились испить из истинного родника Софии Премудрой. Не зря пропали труды многих ревностных пастырей, дозирующих Россию уж кой век.

Они облобызались, искренно любя друг друга и почитая, и на глазах Никона навернулась слеза. Он слегка приоткинул бархатную мантию, приобнял гостя и, притиснув к алому зипуну, что никогда не водилось прежде в церкви, так и провел через сени в Новую Крестовую. Одного взгляда хватило Макарию, чтобы ревниво оценить роскошь новых святительских хором: он с горечью и внутренним плачем позавидовал щедрой и гиблой расточительности москвитов. Он поднес Никону позолоченную икону Трех Святителей, большой черный хлеб с солонкой и пожелал благополучия в новом житье. Крестовая была еще пустынна: с потолка свисали, заливая светом палату, пять серебряных полиелейев франкского дела, в одном были часы с боем; кривой стол, дожидаясь гостей, был застелен камчатными скатертями, многие же лавки покрыты щедрым царским подарком.

Алексей Михайлович, возвратившись из польского похода, привез трофеем более ста облачений и мантий, принадлежащих армянам и иезуитам, и поднес их патриарху со словами: де, друг собинный, делай с ними, что хочешь, ибо они нечистые и всеми молитвами не соскрести с них грехи еретиков. Никон же подарок с радостью залучил в патриаршью казну: он оставил цареву щепетильность без внимания, посчитав ее за каприз, но ради новоселия украсил Крестовую палату, даже не срезав с облачений пуговиц и крючков. Много войска у государя, и Господь миловал их удачею: но вымаливал-то побед он, Никон патриарх; и не только выплакал благополучия русской рати, но и строил топорки, сбирал коней, правил обозы и ополченцев, ведь война – ведьма обжорная, много чего в свой котел пригребают.

Долго попускает Господь, но и его терпению однажды приходит конец. На себе расчуяли нехристи-папешники и костельники Божью кару и грозу. Давно ли обавники в своих греховных храминах потчевали паству фарисейскими песнями, а ныне их мантии будут попраны православными седалищами...

Нет, не мот Никон, но далеко торит тропу, испытующе подглядывая за сирийцем; знает, что Макарий вчастью гостится, как бы случайно, в Риме, и к папской туфле приникает, и верно, что скоро принесет сию печальную весть к латинникам и тем горько унизит самовольно возвысившихся, поправших веру Христову. Пусть стенают искусители: высоко ныне взнялася великая Русь, могучи и духоподъемны ее крыла, а звезда ее не затмится до скончания веку...

Но мысли эти неведомы Макарию. Он-то лишь свою бедность помнил и тешил в груди и тайно печаловался о своей пастве, и сердце его сейчас пожирала черная зависть. Им-то, барбарам, откуль такое благоволение? им-то за что Господь попускает таких побед? давно ли из-под татарина едва высиделись, давно ли березовому пню кланялись, а уж в ближние Господевы слуги записались, гордецы. Это мы дали истинную веру и грамоту, смертно стояли за Сына Господева, и всеми сокровищами не расплатиться им за свет Христов. Это мы украсили их барбарскую жизнь вечным праздником. И на что бы ни пал истиха наш взгляд, все это наше и нам принадлежит по праву. Сколько же тут облачений можно скроить нашим иереям, едва прикрывающим в Антиохии свою наготу. Даже идолопоклонники освещаются крещением, а ежели эти материи окропить святой водой, разве не воскреснут они и не станут родными для церковных одежд? Понапрасну растрясает московиты гобину свою, не зная ей цены, не копят на будущее, словно одним днем живы, упиваются Божьими щедротами, позабывая, что нынче Господь милует, а завтра и наказует. А каково-то нам, кто уж сколькой век немотствует в полоне, обложенный даньми. Разве мы в своей стране не взяли бы парчовых одежд, даже если бы их носили евреи, и не переделали бы в священнические облачения? Если Богу так угодно, да попустит Он, чтобы московиты разгневались на нас люто, лишь бы Он обогатил нас чрез них...

Чу! Слышишь возглас невоглашенный? Так вопрошает лишь совесть и честь, если они вовсе не остыли. Патриарх Киликии, ей, опомнись, сердешный! И неуж запоматовал, как из года в год, почитай целый век, да не одной поездкою, навещаете вы Русь, тайно презирая ее и уливаясь слезами, проникаете в жалостливое православное сердце и чего только по нашей доброте не волочете обозами обратно в свои Палестины: лишь щедрой милостынькой – золотой монетою и соболями, бобрами и кошлотами, песцами и рыбьим зубом, утварью и всякой дорогой объяринной материей – и перемогаетесь в турецком полоне, уплачивая дани. Воистину сладкое разлижут, а нескудные подарки помнятся лишь до часа отъезда: с глаз долой – из сердца вон.

Пока сириец озирает новые хоромы, тем временем в сенях и в самой палате стало тесно от гостей: в свой черед подходили к руке архиреи и поднесли иконы, хлеб-соль, золоченые кубки, портища парчи и бархата; потом отдаривали настоятели монастырей, царевичи, сановные, городские священники, торговые гости, ремесленники. Никон принимал лишь иконы и хлеб-соль, всякий раз целуя каравай; остальные подношения забирал патриарший дьяк Кокошилов, а подьяки относили вниз, в приказную комнату, и сразу чинили роспись в приходную книгу.

Потом патриарх послал ближнего своего боярина звать к столу государя...

Алексей Михайлович прошел из Терема галереей через нарфлекс новоустроенной церкви Святой Троицы.

«Царь-государь жалует», – возвестил князь Мещерский. В расписанной травами стене возле горящего золотом иконостаса вдруг открылась потайная дверь с медным частым пере-

плетом, опушенная синим киндяком, сделанная под слепое окно. На воле давно замглилось, в оттайках стекол меж куржака виднелись фиолетовые проталины, и трудно было отличить фальшивое окно от настоящего. Сколько таких переходов, коридоров, долгих сеней и перебродов, всяких тайников и перелазов в Кремле: чай, и сам государь толком не знал всего хитросплетения этих дворцовых троп, давно замурованных и появившихся внове, что сочинялись в царских службах за долгие века устроения Руси.

Государь был без ватаги. Сопровождали лишь два ближних спальника и ключник. Никон ревниво отметил: опять возле царя отираются Хитров да Ртищев. Более дальних меж собою людей, чем эти два приближенных, трудно было сыскать, но вот Алексей Михайлович обоих отмечал и потворствовал, всякому находя близ себя постоянное и неотлучное место. Третьим был Зюзин. Зюзина Никон любил.

Все в Крестовой сразу замирилось, опала толкотня. В сенях и на лестницах слышно, как муха пролетит. Царь был одет по-простому: в голубом зипуне, комнатных зеленых сапогах и в червчатых бархатных шальварах, на поясе нож в костяном окладе, обложенном яхонтами. Был царь простоволос, на темно-каштановых волосах лежал легкий отсвет инея, предвестник близкой седины. Царь остановился в дверях, едва помещаясь в проеме... Он строго оглядел гостей, медленно переводя взгляд, и всякий, на ком замедлялся взор, робел вдруг, становился маленьким и жалким, норовил скорее пасть на колени.

Царь же отбил большой поклон патриарху, и Никон поднялся со своего места в переднем углу. Пол в Крестовой был устроен странно: выложенный цветными изразцами, он был опоясан каменной трехступенчатой выступкой вдоль стен, покрытой персидскими попонами. Трапезники, что толпились у кривого стола, выглядывая подобающее почету место, невольно оказались внизу, словно бы на дне приглубого садка, из коего выпустили воду; царь же и патриарх стояли в противоположных сторонах палаты, недосыгаемо возвышаясь над всеми. И каждый из гостей, кто тайно завидовал Никону, сейчас возненавидел его еще пуще, ибо этот волдемановский мужик, воровски прокравшийся на патриаршью стулку с помощью чародеев и обавников, не только вызвался в равню самому государю, но оказался значительней его, дородней и сановитее. Даже ответный земной поклон Никона из-за его природной телесной мощи виделся со стороны жеманным и жалким. Хитров отстранился за присадистый каптур (ценинную печь), стоящий возле двери, и Никон, разгибаясь, случайно поймал его холодный прицеливающийся взгляд. Был Богдан Матвеевич разодет в золотную ферязь и горлатную шапку с соболиным оком, а персты десницы, хватко упиравшиеся в посох с золотым яблоком в наверху, были все унизаны сверкающими перстнями...

От Хитрова, казалось, истекали десятки острых тонких сулиц, пущенных в патриарха с неясным умыслом. Алексинский худородный дворянин, прибиравший по часту к рукам все, что худо лежит, он готов был выгрызть самозванцу печенку. Он начитался Остроуми и Каббалы и, наученный домашней девкой-литовкой, с коей не повенчал его патриарх, решился напустить на Никона рассеянность и тоску, именуемые сглазом. Но стрелы Богдана Матвеевича не уязвили черных мужицких мясов, отразившись от чернецких вериг, и ничто не затомило сердце патриарха. Победительная радость, переполнявшая патриарха, нынче всех миловала, ибо с приступки этой, усталой шемаханскими коврами, он проглядывал сейчас всю великую Русь и чуял верно, как крепко возлюбил Отца своего православный люд... «А эти бесстыдники пусть сикают, опившись хмельного фряжского сикера – Никон усмехнулся и потуже натянул на лоб тесный вязаный Филаретов клобук. – От фрыгов ты, худородный, вознесся на Борискиных плечах, да от них и падешь, прелестник. Уймешься ли когда? Ишь, уноровил все схватить, на что взгляд упадет. Доносят верные, де, опять сговорщики что-то путают супротив меня, опершись на лутеров. Вишь ли, им греки не по ндраву...»

Мысли пронесли и сгнули; тревога лишь на краткий миг призатуманила патриарха. Он пристукнул посохом, приободрил себя и всю гоститву призвал к смирению... Овчи, овчи,

я строго пасу вас и тем спасу!.. Тверже адаманта был нынче кир и воистину заслужил государев венец. Никон собрался идти встречъ государю, но Алексей Михайлович опередил; он уже тащил поднос с караваем и сорока соболями: не пластины худородные и не пупки, но самолучшие дорогие меха обнизали поднос колыхающим блескучим опоном. Царь нес подарки, слегка присутуленный тяжелым подносом, и толстые косопалые ноги в зеленых мягких сапожонках были приспешисты, но устойчивы.

Никон расправил на груди обе панагии и услышал, что волнуется. Все свершалось как бы и при знатном московском сборе, но вроде и вне людей, ибо никто, оставшийся внизу, не заступал этого молчаливого царева пути. Государь тяжело, сдавленно припыхивал, перемогал в груди раннюю одышку. Он снова поклонился патриарху и молвил полнозвучно, велегласно, на всю палату, искренне радый своему смирению, но и несколько возгоржась им: «Великий государь! Твой сын, царь Алексей, кланяется низко твоей святости и подносит тебе хлеб-соль за-ради новоселья». И не успел патриарх отблагодарить, как царь поспешил обратно за новым подносом, торопя бояр и стольников несдержным зычным голосом, словно бы кто подгонял Алексея Михайловича иль оказался он у той крайней черты, за коей край земного быванья.

И всяк из гостей, а особенно из антиохийского посольства духовные были изумлены царевым непоказным смирением, той сердечной кротостью, коя позволяла государю свободно, без усилий унять гордыню. Ты, государь, слава своего века! ты подпятил и возвернул державе многие славянские земли, что немотствовали в полоне! твоими победами изумлена Европа и до сих пор, как после чумы, не может прийти в себя! И здесь, в самом сердце православного царства, ты, как малый света сего подручник, таскаешь, потея, многие дары, тщаь заслужить Господней милости при сих земных днях, заменяя слуг своих. И не страшишься уронить себя, наместник Бога на земле? и не боишься, что всякий приказной станет насмехаться в тайности, ронять поносными словами твою власть и строить куры? Ах, государь, да увековечит Бог твое царство за великое твое смирение и за верный приклон к своему патриарху! Так, наверное, воскликнул всяк из почестных гостей, кто молитвенно, с замиранием грудным всматривался в собинных друзей и не улавливал меж ними ни малейшей задоринки...

А притартал государь подарки и от царицы, и от сына, от своих сестер и дочерей; а всего же совершил двенадцать ходок, и на каждом подносе лежали по хлеб-соли и по сорока соболей. Кто знает, как распорядится богатством патриарх? иль нынче же занесет в приказную книгу доходов, чтобы после пустить в оборот и на строительство храмов? Но всего вернее, что завтра патриаршья подьячие оттащат их обратно в царевы кладовые, где им подобает быти, если не откажется Алексей Михайлович. Ибо не нынче заведен дворцовый порядок и не нам его менять...

Дальше-то будет много питий, и почасту понесут патриаршья слуги разную еству, и всяк отпотчует то блюдо, что душенька схочет. А будет всего сорок перемен. Сам-то патриарх отведаст стерляди вареной звеньшко, да тыквенной кашки-мазули горшочек, до коей большой охотник, да сковородку гретых рыжиков.

...За аналоем посреди Крестовой анагност с замиранием сердечным, высоко подымая голос, прочитал житие святого Петра, как бы песню небесную пролил родниковой струею. И поднялся государь с почестными гостями и отбил большой поклон. И вино, что лилось в ковши и чары, и стопы, и братины, и крюки, казалось воистину Христовой кровью. И всяк братался с соседом, изгоня из сердца зависть. Тут запели москвиты бархатно, басисто, сами отроки в белых, обшитых золотом стихарях, и священное одеяние не скрывало широкой груди, более склонной к полю и рати; после подхватили церковную песнь казачата, выведенные Никоном с Украйны, и медовые нездешние голосишки их вызывали сладкую грусть

и воспоминания по полузабытой древлеотеческой родине, где долго хозяйновали татарва и ляхи. А нынче наше Поднепровье, слава государю! значит, и певчие нашенские, вроде бы кровные сынки из Скородома и слобод, благочестивые, смиренные, с карими глубокими глазами, на дне которых тлеют неиссякаемые изумрудные искры. И у многих гостей то ли от хмеля, иль от счастья, что собрались у стола родные духом, иль от близкой слезы поселились в глазах непроливаемые окатные жемчуга. И даже старые, сивые, как песцы, завистливые бояре вдруг помолодели и обновились. Ах ты, Боже, прости и помилуй зловредных: пусть грехи наши иссякнут, как прошлогодний снег, осыплются за порогом Крестовой, как пелева с обмолоченных хлебов, как яблоневый пожухлый лист, как прах с древесных моховых колод...

Самолично государь обнес кривой стол чарою романей; вернувшись на свое место, он возгласил здоровье патриарха и выпил в приклонку, как молвится, пригнул на лоб, высоко чества Никона; и гости усидели чарку, и каждый последнюю каплю пролил на голову, удостоверяя царя ли иль ревностно блюдущего приличия соседа, что посудинка опустошена до дна. А после завелись гулять заведенным порядком, помня, однако, краем ума, что невинно вино, но проклято пьянство и что тверезым из гоститвы не ходят. Патриаршьи стольники, усердно потчужа многопировников, носили с поставца, что был приставлен к ценинной печи и загроможден золотой и серебряной посудой, – вино белое и красное, двойное и ординарное, холодное и горячее, сухое и прикислое, бастр и секир, романею и ренское, пиво и полпиво, мед земляничный и вишенный, стоялый и квашеный. Потчуй, милосердный гость, что утроба позволяет, попускай радость сердечную и гони прочь напрасную злобу...

С начала трапезы государь не забывал Макария, с молодых ногтей возлюбив того: он посылал со своего стола то блюдо с лебяжьей грудиною, то кубок с напитком. Антиохийский патриарх сидел за особым столом с правой руки Алексея Михайловича и, не сводя взгляда с царя, постоянно улыбался чему-то. Никон ревновал, вострил слух, но не мог поймать беседы; левое воскрылье с золотым плащом будто невзначай он сбил на сторону, освободил ухо, и теперь оно непрестанно червленело от досады. Он уже и запомнил, возгордясь, чем был обязан антиохийскому владыке, коему клялся быть подпятным слугою на Руси в делах веры. «Ишь ты, турецкий подпазушный пес, – думал Никон, набычась, – только из каморы нищей вылез, немывтый, а уж и вознесся, неясить оживленная. Ужо погодитка, дай мне на константинопольскую стулку взлезть, тогда покажу вам и ряд, и сряд, как штаны через голову вздеть; истинно возревнуете к Богу и приклонитесь мне, как Христову образу...» Но, однако, о чем таком, сугубом и тайном, могут беседовать на пиру, позабыв отца отцев?

– Как царь Ирод был снедаем червием за грехи, так и я загрызаем ежедневно лютой печалью за вас, православных, сирых и безгрешных, что нескончаемо изливают слезы под басурманом, – переживал государь, слегка хмельной и ознобно-восторженный от вина; толмачил ему архиепископ сербский Гавриил, чернявый, цыганистый, с глазами, как два хризопраза чистой воды. – Денно и ночью молюся, как бы скорее приступить за вас, развязавшись с Казимиром. Вся Европа ему подталдыкивает, не дает сронить. Но дай срок замириться лишь...

– Слушать вас, как принимать сокромонт. Каждое слово ваше, свет-царь, изливается, как миро, на душу.

– Будет, будет... Не вем, за что угодничать тебе предо мною, рабом твоим. Ты-то, Макарий, и при жизни, а уже в раю. Один Бог ведает, где мне-то скитаться за мои грехи, в какие теснины сокрушат меня бесы.

Государь побледнел, голос его сорвался. Алексей Михайлович склонил голову и мизинцем скоро стряхнул из глаза слезу; она упала на край серебряной тарели и засияла, как адамант. Макарий смутился, что стал свидетелем подобной картины, и принял ее, как дурной

знак. «Господи, – взмолился он тайно, – дай скорейшего и доброго пути в родные дома. Пусть и под турка, но во спокой. Эти скрытные люди живут под чужим Богом. Они хотят того, чего сами не ведают. Они совесть ставят превыше богатства...»

Крестовая гудела, забыв чинность. Всяк самолюбец и корыстовец, улучив минуту, лез с кубком вина на приступку и возглашал сверху новую здравицу за сына или цареву дочь. Ежли бесы ездят на пьяницах, то они и стерегут их и правят удачу. Похвалебщики, нагружаясь по темечко, худо чего соображали, но упорно ловили взглядом каждое движение государя. Свечи восковые горели яро, от ценинной печи волнами наплывал жар; ах, как парко и истомно в шелковых фerezеях и золотных кафтанах, вроде бы и не декабрь-студенец на дворе, а сады райские расцвели. Вон они, птицы небесные, беспечно скачут по сочным травам, писанным на потолке и стенах щедрой кистью постника-изуграфа: им надоело клевать невидимое пропитаньице, дарованное Господом, и они слетелись со стен палаты на гоститву к медным росольникам и точеным деревянным цветастым мисам, подбирают на скатертях, испятнанных вином, хлебное и рыбное крошево. Что молвить, христовенькие: на опойную голову и не то причудится.

Драгоман низко приклонялся к государю, наверное худо дослыша, или ему мешал пир. От сербского архиерея накатывал тяжелый дух чеснока, имбиря и оливок. Царь, брезгуя чужого запаха, раздраженно и неучтиво воротил нос. Царь досадовал и на свой норов, и на собственное невежество: нет, не похвалиться ему пред Востоком логофетством. Подумал: «Греков всяко возвышаю и в батьки им лезу сколькой год, а в ихнем языке ни толка, ни перетолка. Как векша, прыгаю по буквицам тем точно в лесу дремучем... Пойми, какие толмачит орации? – косился государь с подозрением на сербского Гавриила. – Говорим, как немой с немой, а этот свои слова меж нас приплетает, что на ум взбредет. Эти драгоманы что пауки. Ишь, зенками-то лупит...»

Государь дружелюбно улыбнулся, потянувшись к патриарху Макарию, погладил ласково морщиноватую ладонь, густо усаженную коричневыми пятнами, и вдруг попросил стесненно:

– Великий святитель! Помолись за меня Богу, как бывалоче Василий Великий молился за Ефрема Сирина, и тот стал понимать по-гречески. Вот и мне бы, русскому царю, так хотелось уразуметь этот язык.

Антиохийский гость не успел продумать велегласный ответ. Решительно стуча жезлом, высекая осном искры, приблизился Никон и попросил особых гостей в новые брусяные келеицы. Там тоже был уряжен стол с ествою и питьем.

– Моя хижа – твоя хижа, государь! – воскликнул Никон. У святителя были розовые озеночки от недосыпу. «Опристал владыко, отдоху не ведает», – участливо пожалел государь.

– Потрафляешь и искушаешь, святитель? Не боишься развратиться, дружок? Твоя-то хижа куда краше моего Терема, – коварно подольстил царь и рассмеялся, огляделся любопытно, примечая келейную сряду, и всю ее ревниво оценил зорким взглядом: и стопы книг на лавках и вислых полках, и утварь позлащенную, выставленную на посмотрение в поставках, и шкафы черного дерева веницейской работы, на звериных лапах, с висюльками и резной канителью. Словно бы и не русский монах обитал, но римский искушенный логофет и филозоф. «Какой филозоф, ежли ничего в латыни не пенькает», – с легкостью подумал государь и снова рассмеялся, неведомо чему радый. Никон чужим сторонним предерзостным взглядом проглядел Комнату и остался доволен: не сронил святительского чина пред пришлыми. Слава Те, Богу, что дверь в спальню закрыта. Вот бы диву дались...

Никон торопливо поднес кубки с романеей. Стоячие часы в ореховом ковчежце отбили шестой час ночи. Скоро на раннюю утренницу. И опять без сна.

– Все мне позволительно, но не все полезно, – запоздало ответил патриарх с туманным намеком. Вино отдавало горечью и дубовой посудой. – Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.

– Гордоус, и ты червь! Тобою обладает то, чем ты обладаешь, тщась, – одернул Алексей Михайлович Никона пред антиохийским патриархом. – Ты, святитель, себя постоянно с Закхеем равняешь. Но ты не сын Авраама. Посмотреть бы, как на дерево взлезешь вслед за иудеем, тряся гузном. Погляди, огруз весь.

Царь засмеялся, и Макарий ровненько, залиvisto поддержал его, принакрыв умные пронырливые глазки моховыми бровями, сквозь кои уже пробивалась кабанья седая шерсть. Ласковое теляти двух мамок сосет. Да и то смешно: царь вроде бы в Никона метил, а выказал себя. Молодохонек молодец, да тучноват.

– А и лезу, куда хошь взлезу. В отроках под колоколами ночевал. Бывало, лезу, ветер пятки подбивает. Думал, что ветер. А то был Дух Святой. У меня, сынок богоданный, папарты невидимы бысть. Аль не видишь моих крыл? – затрубился патриарх, при госте заговорил с царем резко, но через насильную улыбку: лицо стало черным и злым. – Ты, государь, рано вознепщевал, что я твой подпазушный пес, доморощенный слуга, коли тобою из низу поднят. Но помни, Господь выбирает себе верных слуг. Скажешь, нет?..

– Нет-нет... Не взводи на меня напраслины. На пустое клеpleшь. Но что отец наш Макарий подумает? Издаля к нам попадал не ради даровых опресноков, но за-ради веры. – Царь искренне опечалился и поспешил вкруг стола к Никону с кубком романей. Серебряный кубок был обвит трехглавой змеею. – Давай изопьем на дружбу. Изгоним черную кошку прочь.

«Яду дает, известь хочет», – вдруг подумал Никон и устранился мысли. Словно бы кто за плечом подсказал. Так ясно прозвучали неслышимые слова. И сказал, притворно улыбаясь и за это притворство себя ненавидя:

– Бог рассудит, государь. Все дети Авраамовы, да не все чада Христовы. Ведомо мне, из Иудина племени, из шестого колена Данова приидет антихрист.

Лицо как бы иссохлой глиной измазано, так окоростовело, и будто сквозь чужую личину глядывался Никон в государя. Впервые от него потянуло духом измены и неискренности. Ишь как мельтешит пред сирийцем.

Антиохийский патриарх-миротворец заметался меж великих государей, боясь грозы: лукавым своим умом он не ведал пока, чей приклон взять, на кого опереться, чтобы не прогадать. Один – солнце, другой – луна: два светила на русском небе. Один в папы метит, другой – на константинопольский престол. Ежли турка сгонит. Знать, не напраслину разнесли по Европе: де, в Московии голка разгорается за власть и не вем, кто кого оборет. Два великих государя на одной стулке не усидят. В Руси не за диво мужику на престол садиться... Одно истинно: где двое меж собою пышутся, третий не лезь, получишь на спину рожна да батожье. Собрался было вмешаться Макарий, внушить: де, солнце и луна на одном небе не светят; де, батько Никон, осекись пред царем, царь – наместник Бога на земле, его устами сам Господь учит нас. Но прикусил язык, наблюдая за Никоном, пригубил из чары. И не смог удержать дрожь нетерпения, ибо какая-то блошка невидимая укусила Макария, и внезапно в этой пре почуял гость свою дальнюю выгоду.

– Государь, яви милость, – сказал смиренно, через толмача. Был я нынче на богомолье у Троицы в монастыре. Сидят там в хижe без окон и дверей, без еды и тепла два дьякона, неведомо кем посажены на смерть. Уже посинели с голоду, слезами плачутся, издыхая, о жизни молят.

С этими словами Макарий обернулся к Никону: тот стоял, полуотвернувшись к образам, и быстро перебирал костяные зерна четок. Алексей Михайлович смущенно взглянул на московского патриарха, ожидая ответа, в лице царя мелькнул искренний испуг. Царь боялся

Никонова гнева и не желал его. Еще шла война с Польшей, и лишь молитвами кира Никона посыланы были на русское войско победы.

– Зря просишь, святитель. Я в отцовы дела не вмешиваюсь, – отказал государь поспешно. – Что, ежели не по уму, отдаст Никон мне свой посох и скажет: правь церковью сам, коли такой умный. Ты уж сам попроси у него. Великий государь, слышь? за-ради праздника прости несчастных...

Никон обидчиво закаменел, глядя в проталину заиндеветого ночного окна: призрачная синь была обведена морозным узорочьем, и в глубине стекла, на самом дне прорубки призрачно блуждали небесные звезды, трепеща и замирая. «Господи, я-то чего ерестюсь? – с сердечной щемью взмолился вдруг Никон, в темном омуте разглядывая свой суровый притомившийся облик. – Отмякни, патриарх, – велел себе. – Христос и на кресте улыбался. Сказал же ученикам: любите ближнего, как я люблю вас. Что за муха укусила меня? Ведь я люблю государя, истинно люблю, как родное дитя».

Никон проглотил неожиданный слезливый комок, запрудивший горло, и, слегка замедля, боясь показать лица, ответил, уставясь в окно:

– Они Бога забыли, злодейцы. Какое им прощение будет в Судный день? Чернцы они, Богу клялись служить верно и тут же постриг отринули, клятвы стоптали, ударились в похоть. Ежели простить их, то грехи на том свете утратятся.

– Ну, за-ради праздника лишь. Люди ведь, жива плоть. Ну приспело, ну приперло мужиков. Батько, простим, а? – неожиданно по-русски попросил Макарий и, пока не опомнился Никон, решительно приблизился, коварный, к патриарху, обнял за плечи: отекавшее лицо сирийца едва достало груди москвитя, будто закованной в доспехи, а лоб больно уперся в панатии. Но Макарий и эти неудобства превозмог, еще пуще вжался в святительскую мантию, наверное пытался забодать хозяина, сронить с ног. – Ну прокляни их... Но жизнь-то вправе ли забирать? Живот наш лишь в руке Божией, – ворковал Макарий, оглаживая литые плечи Никона, а пальцы нашарили что-то жесткое, витое. Точно в цепи был закован москвит.

– Нет и нет... не проси. Пусть червие пожрет их, пропащих. Но зато спасутся.

Никон вопросительно взглянул на государя, тот опустил глаза долу, значит, попросил простить. «Эх, государь, Алексей Михайлович, – с сожалением подумал Никон. – Потворствуешь, милочка, проказе. Ведь дижинь в хлебы не обрать. А не с твоего ли извола дьяконов, тех, что вернулись после чумы обратно в дома к женам своим, вдруг похватили и запечатали в сруб на смерть для острастки другим... Я лишь грамоткам твоим потатчик, и в том мне один Бог судия. Твое добросердие я словом церковным зело подпираю, чтобы ты был народу калач сдобный, а я – кус оржаной. Эх-эх, Тишайший! Но почто ты из меня ката делаешь, государь? Не молчи, молви иноземному гостю истину».

Но не дождался патриарх от царя признания.

– Пусть исполнится по-твоему, отец, – смиренно согласился Никон, подавив сердечную бурю; он отвел от государя обиженный взгляд, погладил Макария по тонзурке на голове, как малое дитяти, поцеловал в эту коричневую, в веснушках, будто опаленную, старческую плешивую маковицу. – Ну и хитрец ты, господине, ну и проныра. Замучил мою душу и, немой притворясь, облукавил обоих великих государей разом, поймал меня в тихую минуту на доброе дело. Ну да ладно, сдаюсь. За-ради праздника и последнего душегубца прости и помилуй.

Никон разлил на пробу из ковша по кубкам смородинового медку. Макарий отказался пригубить, пожаловался на усталость и немочь и боковыми сеньми, минуя Крестовую, покинул Дворец. И лишь закрылась за сирийцем дверь и остались великие государи наедине, друг против друга, разделенные столом, уставленным яствами, то сразу и потупили взоры, замолчали, будто языка лишились. И в мертвой тишине стал явственен многоголосый гул за

стеною в Крестовой: там продолжалась гоститва, и многопировники, не ведая устали и не видя над собою надзора, с охотою предавались гульбе.

— Отец, прости, коли что не так, — сухим ломким голосом сказал государь. — Вот праздник вроде, а душа немотствует. Это не я супротив тебя восстал, а бес. Прости, батько, — снова повинился Алексей Михайлович.

— Бог простит. — В голове Никона гудело, будто битых три часа орал он в холодном амбаре. Не голова, а пустой котел-кашник.

— Да... худо, патриарх, пасешь свою паству. Бояре на тебя всяко грешат. Вот и отцы духовные разбрелися всяк по своим селитбам и детей своих продают.

Никон недоуменно вздернул брови. И неуж его государь уличает в измене? Да нет, нет... Решил, что об антиохийском патриархе судит государь. Тоже хорош гость, нечего сказать: ведет себя в России, как лазутчик в чужом стане.

— На тебя ежедень бьют челом и жалются. Про то сам ведаешь. И снова челобитная. — Государь подал святителю грамотку, скрученную в тугой свиток, перевязанную голубым позументом. Никон тут же собрался и прочесть, но Алексей Михайлович остановил: — Будет еще время судить и рядить.

И царь отправился в Терем, чтобы облачиться на раннюю утренницу. Уже две ночи не спал, все в заботах и молениях, а сна ни в одном глазу, лишь ноги остамели и зачужели в сапожонках, как березовые окомелки. Алексей Михайлович неспешно шел тайным переходом, освещенным слюдяными ночными фонарями, с непременною вахтою истопников у каждой двери. У образов в печурах он замедлял, молился, а после продолжал беседу с патриархом: «Я сотворил тебя, а тебе и невдомек, — в который раз повторил царь, этой неожиданной мыслью особенно согреваясь. — Слепец слепого в яму ведет, а зрячий посох — на Голгофу. С Голгофы, Никон, самый ближний путь в рай. Не унывай, святитель, доверься мне, и мы с тобою продвинем Русь на Балканы. Той стеною мы отгородимся от турка и обопремся о Черное море... Но не думал я, никогда не полагал, что ты такой обидчивый и горячий, и преизлиха гордец. Будто и не монах... А может, и не зря доносят на твои дерзости, мужик? Де, цареву стулку возмечтал схитить?..»

2

После утренницы съел Никон отломок папушника, запил корчиком доброго квасу: сытно поел, даже отрыгнуло. Приказав себя не беспокоить, в одном исподнем поднялся по приступной колодке ко кровати, отогнул край пухового одеяла из зеленого кизылбашского шелка. Рукою скользнул по полосатой наволоке, от прохладного полотна горячая влажная ладонь патриарха как бы обожглась, будто чужого живого тела коснулся. Ой! даже вздрогнул от неожиданности. Просунул руку в глубь постели к заднему застенку, нащупал серебряный шар, полный горячей воды. Позаботился Шушера, бережет здоровье святителя. Один верный рачительный слуга заменит собою сотню устроителей веры... Однако что за постеля, ежели на нее и сесть-то страшно, не то почивать. Хорошо государь не пожелал войти, вот бы и повод для пересудов. Он бы комнатному боярину рассказал для красного словца, а тот одним днем разнесет сплетню по престольной. Кто высоко сидит, на того зорче, завистливей и глядят, и пыль, что сыплется с подочв властителя, прах дорожный с его ног принимают рабичишки за саму благолепную и всемогущую власть...

До самой смерти красит человек свою жизнь забавами: он сочиняет их наскоро из всякого пустяка и тут же позабывает. И эта раскорячка над периной, и всякие мнимые испуги, и ужасы патриарха были лишь мгновенной забавою. Никон засмеялся сам с собою, махнул рукою и сел в перину, почти по грудь утонул в лебяжьем пере. С постели, как с престола, мутно, незряче взгляделся в проем окна с белесыми оттайками на стеклах. В желобчатые

порошки до полна натекло, и лишняя вода по суровой нитке стекала в мису, стоящую на лавке. Эх, негодники и лежебоки, совсем отбились от рук. Скоро расстроился Никон от экого житейского пустяка, позабыв, что лишь минутой ранее был растроган заботами келейника.

«... А с Алексеем-то перемены, – перекинулась мысль Никона на государя. – С похода вернулся, как скобелем охиченный: сухой да злой. Иль кажется лишь? Да не-е... Прежде охочь был до слезы, а ныне батьку ежедень цепляет то острогою, то кокотом, да чтоб больнее. Что за услада ему?... И неуж воистину подпятник я, с чужой горсти ем да под чужую дуду пляшу? Нет-нет, патриарх благословляет на царство, значит, он окутывает властелина мира сего покрывалом Божьей благодати. Это с патриаршьего соизволения нисходит на самодержца высшая власть; значит, патриарх выше государя; меч земной быстро краснеет ржавчиной и трухнет от крови, но меч духовный с годами сияет все пуще; под меч земной подклоняются неволею, под меч духовный с радостью и упованием... Почему же государь положил глаз на меня? зачем тащил с Онеги в спасские архимандриты себе под очии? Иль верную рать загодя строил, подручников выискивал?..»

Никон зазяб, полез под одеяло; однако что-то мешало ему сразу замгнать очи. Взгляд упал на прикроватный дубовый шкату. На крышке его лежал тугой свиток с пятнами ушной ествы. И только раскрутил он грамотку, и с первого взгляда по рыхлому почерку, по буквам, заваленным влево, как худая огорожа, понял с неведомым страхом, что писал левша – отец духовный старец Леонид. Воистину последние времена настали, и антихрист уже среди нас, коли отцы предают детей и этим похваляются. Чем же он-то разобижен? Обласкан и обихожен мною, еству приносят с патриаршьей кухни. Исповедуюсь почаству и самый малый грех не затаил... Экую орацию накалал, ябедник; бес надул в уши, ночной анчутка, прокравшись в окно, водил рукою. Воистину: беззавистники упадут временно в темень, а злодейцы грехи свои выставят на посмотрение и станут похваляться ими, как добродетелью.

Никон чел торопливо, перескакивая по строкам памятки: «... Римский папа, егда умыслил царскую власть себе похитити, прежь сего митру на себя возложил и панагию другую наложил и в том пребысть немалое время: и посем умыслил с советники своими, и кесаря Генриха подаянием сокромента уморил, и точию все царское обдержание на себя восхити. Тако и Никон, яко волк в овчюю кожу облечен, митру на главе нося и панагию другую на себя налагая, и советникам своим повелевая такоже, похитил царский чин и власть. Никон поставил Крестовую церковь выше соборной, тут же сделал себе светлицы и чердаки, и то явное его на царскую державу возгоржение. Еще к тому себе сделал колесницы поваплены и позлащены, а того у прежних святых пастырей не бывало. Святой Кирилл глаголет: аще кто zde паче всех на земли возносится, блюдится его, сей бо есть дух антихристов...»

Сплюнул горько патриарх, попал себе на бороду, утерся предательским свитком, откинул его прочь; посмотрел на руки, пальцы тряслися. Взмолился отчаянно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного... помилуй мя... помилуй мя...» Злость захлестнула, и невмочно стало дышать, перехватило воздух в груди, и там, где обычно помещалось сердце, неуставаемо тукая, сейчас зияла пустота; казалось, можно ладонь просунуть меж ребер и заткнуть кулаком тот проран... «Казни ему, казни самой лютой, – поначалу пронеслось в голове. – Навадники, шептуны, злодейцы, шпыни болотные, нетопыри, шиши и обавники обложили тыном, засеки засекой. Звать иуду сюда немедля пред очии, чтоб в глаза его подлые глянуть. Отхожее место там, где полагается очам быть... Ой, они еще не спознали патриаршьей настоящей грозы: где молонья моя ударит, там провалище будет до самого дна адава и всякому отступнику тыщу лет мучиться тамо... Одеваться, немедля одеваться».

Никон позвал ближнего келейника в серебряный свист. Шушера не замедлил явиться.

– Сынок, вели подавать смиренное платье, – сказал Никон вяло, пересиливая гневливость: в груди было по-прежнему стесненно.

– Отдохнули бы, святитель. На вас лица нет. Еще стол нищим зван. Сколько вам опять забот...

– Они-то заступленники. Они не пре-да-ду-ут, – протянул Никон задумчиво, что-то затеивая. Шушера недоуменно посмотрел на патриарха, пожал плечами. Увидел на полу бумажный столбец, скрученный в свиток, и невольно принагнулся и поднял, чтобы положить на место.

– Иоаннушко, прочти, – попросил Никон умирающим елеиным шепотком. Не сказал, а прошелестел. И куда-то вдруг подевалась в голосе воронья скрипучая гарчавость. Обыкновенно, чтоб втихую молвить – за чудо: любит святитель повести себя на громах, рыкнуть на подначального, чтобы забоялся тот, задрожал как осиновый лист, иль вскричать «крык-крык», как осевшая в колодах, промерзшая дверь. Шушера принял свиток и зачем-то понюхал: пахло ушной ествою, окуневой похлебкой из сушняка, знать, чернец писал. Эх, Иоаннушко, служить бы тебе в Разбойном приказе подъячим по сыску.

Никон наблюдал за келейником, призамглив глаза, недавний гнев уже казался ему смешным и напрасным, но на душе оставался от него мутный осадок. И то подумать: ежели всякую проказу, коих нынче много скитается по Москве, да всякую ябеду, что через государя непременно попадет в руки к патриарху и будет храниться в дубовом прикроватном шкапуне, – так если всякую клевету принимать близко к сердцу, то давно бы испеплилось оно и выпало из груди, как трухлявый табачный еловый сучок, и сквозь этот полый зрак сквозили бы ежедень ветры, до хвори прозябающие душу. Нет, внезапный сполох лишь от бессонья, от усталости, от тяжкого бремени, что добровольно взвалил на плечи, и этот лошадиный воз, почитай, тащит четвертый год...

Ей-ей, у келейника-то, оказывается, котовья наружность: усы наостренными копейцами и бороденка в три волосины неряшливым вехотьком, сквозь который проступает розовая младенческая кожа. «Экий, однако, отелепыш», – с любовью воззрился Никон на ближнего служку.

– Прочти, прочти, – повторил. – Да не мнись ногами, как окладенный жеребец. Что ж ты, братец, не стареешь?

Шушера смущенно пожал плечами, приткнул близорукие глаза к столбцу, но патриарх уже передумал, забоялся лишнего глаза:

– Постой... Ну-ка, подай сюда бумагу, шептун. Вижу, любопытен преизлиха. И ты предашь меня! – утверждающе, как само собой разумеющееся, воскликнул Никон. И вдруг лицо его набрякло кровью, щеки дрябло затряслися, покрылись паутиной сизых прожилок. – Чем заступил вам, завистники? Напыщились впоперечку, как дождевые грибы. Замотай, решили вовсе прокутить православную церкву, а униаты того и ждут. Что вам вера, шпыни, зачем досюльные обычаи, лишь бы сладко пилось да жирно елось. Непути!.. Я о вас печалюсь да молюсь ежедень, а вы – непути. Вам бы лишь изветы писать на батьку. Ужо погоди-тка, возьмусь я за вас, напущу грозы... Кыш-кыш, анчутка, поди прочь! – Но Иоанн Шушера патриарха не забоялся, как не страшатся слуги господ своих, коим давно и преданно служат. И лишь потворствуя Никону, он пригорбил спину, втянул голову в плечи, будто ожидая немилосердного тычка, и медленно потянулся к порогу, верно зная о непременно новой просьбе. – Вели одевать, прокуда! – вскричал Никон вослед, приподымаясь с подушек. – Да старца Леонида зови к столу... Особо кланяйся...

«Пусть поглядит мне в глаза отец духовный», – мстительно прошептал патриарх и опустил с перины ноги на прикроватную приступку, обитую сафьяном.

«Грешник я, великий грешник», – прошептал он с укоризной.

Милосерден и поклончив патриарх к нищим. В карете ли едет, иль пеши попадает в подмосковные дачи, иль по монастырям на богомолье, обязательно самолично не одну сотню

рублей раздаст милостынькой, ибо блаженны нищие духом, и всякий из убогоньких, кто обмерзает по папертям, иль в келеице при церкви, иль в скудном пристанище у добродетельного христианина, – всякий на лестнице, ведущей к Господу, стоит на высшей ступеньке, неотторгаемый, всегда привлеченный Светом нашим. И в большие праздники не из приличия лишь, но по искреннему душевному расположению к нищим Никон постоянно устраивает для них трапезу. Вот и нынче для нищих особый стол: званы не только патриаршьи нищие с паперти Успенского собора, но и дворцовые, теремные (государевы прошаки, что на его корме живут), и царицы Марьи Ильинишны богоприимные люди, пригретые ее умильным сердцем. А всего прибрело к патриарху на новоселье с полсотни милостынщиков, клосных и убогих, сирот горемычных, издавна живущих лишь именем Христовым.

Обилен патриарший стол, много будет подач ествы рыбной и говяжьей, и вином распотчуются несчастные, а что не съедят, то с собой унесут в узелках в одинокий угол. Но не зазвал первосвяtitель на кушанье ни блаженных, ни кликуш, ни юродивых, что известны по Москве своими пророчествами: последних особенно не терпел патриарх, ибо своей гордыней, тем, что пытались чужой судьбою управлять, считывая ее с небесного листа, они как бы переимывали на себя Вышнюю власть, равнялись, нечестивые, с самим Христом и даже соперничали с ним, ни во что не ставя православный клир. Вот бродят окаянные по престольной и трубят на всех крестцах и стогнах, что им на развращенный ум падет, и всякое честное имя, кое не по их нраву, уронят и стопчут в грязь. Юродивый Кириюша, что Никона своим врагом объявил на Болоте, не забоялся темнички и попытался в Крестовую попасть на нищий пир, но был исторгнут в сугроб с Золотого крыльца бердышами патриаршьих стрельцов. К государю, вишь ли, хаживал юродивый и рек вещее, и с государыни сымал дурной напуск по ветру и дите пророчил, но вот злодеем Никоном был извержен в снега и едва до смерти не убили. Ну как тут залюбишь Отца, у коего шея обвита черным змием?..

Нищие в сенях трапезной скидывали теплые овчинные шубы, даренные патриархом к Рождеству, входили в Столовую палату по одному, чинясь и рядясь по нищенскому уставу, с неперемной Иисусовой молитвой на устах, у порога падали и ползли на коленях к патриарху, целовали ему край мантии. Никон же простецки сутулился на низенькой дубовой скамеечке, и пока затрапезный гость тут же, сидя на полу, сымал бараньи сапоги, патриарх выпрашивал о житье-бытье, а после мыл грецкой губкой ноги ему, поливал из медного кувшина над тазом-оловянником. Всяких плюси, разросшихся старческих и немощных в язвах, не чурался Никон, особенно обихаживая измозгнутые болячками пальцы и распухшие суставцы, тешил их мягкой губкой и просушивал холщовым полотенцем. И милостынщики, принимая эту заботу, не чурались, не кобенились, не подыгрывали патриарху в его великодушной милости, меж тем тайно улыкаясь, но принимали как должное заповеданное Священным Писанием. Ибо истинным нищелюбцем был патриарх – живой образ самого Христа. Не родом нищие ведутся, а кому Бог даст, и этой тайной заповеданности человеческой судьбы всегда удивлялся Никон, в каждом прошаке видя себя. Воистину от сумы и от тюрьмы не зарекайся...

Всем пятидесяти нищим вымыл Никон ноги, но от этого смирения нынче не стало ему сладко. Изменщика и корыстолюбца он особенно ждал, кто предаст сына духовного однажды, навел на него несносимые изветы и, зная, еще предаст не однажды. И вздрогнул Никон, услышав мягкий хрипловатый голос старца Леонида. И об одном взмолился пред Господом: чтобы помог сдержать гнев. И пока пересиливал себя, то упрямо смотрел на толстые валяные сапоги с кожаными обсоюзками и на обледенелый подол зимней рясы на хлопчатой бумаге. Издаля попадал старец Леонид, через всю Москву перся. И не глядя, Никон представлял духовного отца, длинного и сухого, как зимняя будылина посреди степей, слегка присутственного.

– Сын мой... – с придыханием молвил старец Леонид. От него пахло постным. – Как измываешь ты, усердник, ноги клосным и страждущим нищим, с таким же тщанием ты обихаживаешь душу свою. А сияет она нынче ярче утренней звезды.

– Не утешай, отче, знаю, что грешен. Худо ты пасешь меня в своих молитвах. – Никон стянул байбаректовую скуфейку, вытер пот с лица. – Мнится мне почасту, что заключен я в темничку и скимены рыкающие и змеи живородящие окружают меня. – Никон решился и поднял глаза: увидел нависшее серое лицо, обрызганное конопельками, пористый прикляпистый нос, длинный тонкий рот, обложенный плотным снежным сугробиком бороды. Уж сколько год исповедуется этому старцу, его пеплистый, мерцающий взгляд почитал за святой и никогда до сего дня не замечал, какой у чернца ехидный, как у лягуши, длинный, почти безгубый рот. От мгновенного отвращения, коего никогда не испытывал Никон, обихаживая ноги самых проказных и отверженных нищевродов, патриарх содрогнулся и призакрыл набрякшие глаза.

«... И явятся сатанаиловы дети в обличье людском...»

– Золотые скимены пострашнее живых, – с намеком ответил духовный отец. – Они не рыкают снаружи, но заедают душу внутри. Горе тому, на чьем челе отпечатается золотой зверь.

Никон резко вскочил, нахлобучил скуфейку. Нищие уже сидели за столом, дожидаясь патриарха, пред каждым в медном росольнике дымилась янтарная стерляжья уха с кулебякою. Анагност стоял за аналоем посреди Столовой палаты, не смея читать молитву. Никон благословил трапезу, скрадчиво попросил старца Леонида:

– Ежли не голоден, отче, пройдем в мою новую спаленку. Хочу похвалиться... Да и душа что-то ноет. Иль к непогоде? На воле-то опять завируха.

На дверь опочивальни Никон набросил тяжелый кованный крюк, протянул старцу двурогую каповую ключку. Старец не ожидал и отшатнулся; но хорошо ведая патриарший нрав, сразу подумал на худое. Сполох, гроза – наш патриарх. Еще тепел, искрист, влажен от близкой слезы его взгляд, бархатен от искренней братней любви его голос, но если приглядеться к святителю, то увидишь в глубине зениц приближение близкого опаляющего сполоха; там такой жар настоялся, от коего опаско и самому лихому человеку.

– Чего не примаешь? На-на, бери, отче. Бери и суди изгильника, что восхитил цареву власть. Так нынче молвлют на Москве. Ударь меня, ударь пуще, чтоб возгри полетели! Я нарушил Христову заповедь, но ты, блаженнейший, исполни ее. Гони нечестивца бичом из церкви...

– Господине, за что гневаешься? Не смейся над угодником Божиим, это великий грех. Чем не угодил? Я ли пред тобою не расстилаюся, яко лоза под ветром? – воскликнул старец в изумлении и со страхом закрыл лицо руками. словно бы заключили невинного пречестного человека, яко зверя, в клетку – и ну гонять. Не так ли и первых святых христиан мучили, бросая к разъяренным скименам на съедение. – Я тебя, господине, худому не учил, я для тебя – замок и тайна. И всякое мучение твое стало моею мукою. – И так искренне проговорилось моление, так жалостливо, страдальчески всплеснул ладонями старец, с таким ярым жаром осенил лоб крестным знамением, что тут впору усомниться в грамотке и признать ее за поддельную.

...Эх, старче, кабы ты взгляда не утаил! кабы прямо и честно воззрися в патриаршьи испытующие очи, чтобы на самом дне пеплистых, обычно отуманенных печалью глаз разглядел бы Никон искреннюю отцову любовь. Заплутай, ты патриарха, отца отцев, ни во что не ставишь, обманул предерзко и потому упадаешь в такую бездну, из коей не выбраться и по смерти.

Эй, старец Леонид, почто мучаешься? что гнетет тебя и сутулит худобу, как бы на шею твою вздели тугое ярмо? Батько-батько, твои нечестивые слова измозгнули, едва исторгнув-

шись из груди, и дух от них стелется по опочивальне, как от прокаженного на смертном одре. Дух лжи и самое чистое жилище превращает в хлевище. Ну повинися, повинися – и спасешься!

– А тогда пошто взгляд прячешь, дурень? Иль вину чуешь за собою?

– Господине, чист пред тобою, как свеча ярая пред образом...

– Но пошто пахнешь не миром, а козлицем?

– И назем не сладко пахнет, святитель, а от него хлебы. – Старец Леонид уросливо встряхнул головою и торопливо направился к двери, понимая разговор поконченным. Он уже намерился сбросить тяжелый крюк из проушины, весь внутренне дрожа, чуя спиною грядущие невзгоды, ненавидя патриарха, как загнанный в полон серый зверь. Да и чем сможешь оправдаться, малый Света сего? В твоей воле огрызнуться лишь, клацнув зубами... Но что Никону ведомо? и чем он может уличить меня? И неуж государь предал, отдал челобитную?... Сказывают на Москве, де, Алексей Михайлович во всем поверяет притворщику... Да нет, пустое. Царь-государь – тишайшее отражение небесного сиянья.

Никон прочитал колебания духовного отца и решил: пусть Свет наш не меркнет. Негоже государю упасть в грязь лицом пред каждым рабчишкой, что тащится к нему с напраслиной и изветом.

И перехватил патриарх заплутая у двери, поймал за шиворот, встряхнул, сторстал в кулак и жидкую косицу и больно поволок неведомо куда: словно бы палач на стулцу, чтобы рубить голову. Он содрал со старца скуфейку, совлек зимнюю рясу и подрясник, и теплые на беличем меху порты, и холостяную срачицу: растелешил родименького, оставил в чем мать родила.

– Разоболокайся, старче, не стыдися сирого сына своего. – Крутился старец в руках Никона, как осиновая баклуша под ножом ложечника. – Что есть плоть, как не вериги души вечной. Ох ты, какой мозглый да квельый. – Никон отстранил старца мощной дланью, как бы издаля проглядел инок, решая, что дальше из него творить, и бросил его в патриаршью постелю. Закричал, наливаясь кровью, и вид его был страшен. – Клеплют, завистники и заплутай, де, езжу я в повапленных и золотых каретах! Но и почиваю-то я, грешный, как великий государь! Сладко-нет в пуховых перинах? Потешь, батюшко, кости, погрейся в лебяжьих одеялах.

Жалок и смирен был голый монасе, и постные мослы едва не взрезывали худобу: не нарастил келейник мясов на патриаршних подачах. Иль черной завистливой душе и крупитчатые калачи не впрок? На глазах старца Леонида выступили слезы, нос покраснел и набряк. Чернец даже и не пытался возразить иль пойти впоперечку, но покорно скрестил на груди руки, будто приготовился умереть страстотерпец.

– Укрой шулнятки-то, ябедник! Ну! – Никон взмахнул посохом. Но духовный отец не сморгнул, лишь мелкая сыпь вылилась на лядвии, а сухие длинные ноги посинели.

И попросил старец побелевшими от тоски губами:

– Потешь душу, патриарх, побалуй дьявола. И неуж ослеп, святитель, и не видишь вокруг, что все, кто одесную были от тебя, нынь попятились и впали в печаль. Не робей, Никон! Грешить сладко! Но попомни: кто в сей жизни невинного бьет, тот в будущей стократ побиваем будет.

Старец Леонид безгубо улыбнулся, обнажил съеденные розные зубы, вроде бы чистую правду глаголил доноситель, каждым укорливым словом припечатывая патриарха, но ведь за эти изветы, за эту кошунную ложь должны бы поразить чернца небесные громы? Но старец не только не пугался Божьей грозы, но еще и насмехался над Никоном. Он порывисто повернулся гузном вверх, подставил патриаршьему гневу сморщенные, как печеные яблоки, ягодички и узкую, прогнутую седлом спину с крупными катышами позвонков и белесоватым длинным шрамом меж лопатками: с молодых лет памятка от ляшской сабли.

– Слезай, кобелина! Ишь разлегся! – приказал патриарх. Он облокотился на посох, разглядывая любопытно немощнейшую изжитую плоть духовного отца в государевых постелях. Морщинистая, издряблая шея с волокнистыми косицами волос была как корень редьки, у левого плеча крупная бородавка с перепелиное яйцо. «Ох смутьян, смутьян, – Никон жалостливо покачал головою, – не в этот ли вулкан влезает зло, коим, знать, и прозябаешь лишь? Негодник, я-то тебе чем не угодил?» – Слезай, шептун, с чужого одра, – повторил Никон. Еще подумал: экий, однако, самовольщик и большой нахал.

– Не слезу, – упрямо, противился старец, вцепляясь пальцами в переднюю грядку кровати. – Обещался, милостивец, так бей, исполни грозу! Я не боюсь! Меня ангелы пасут!

– Тьфу!.. Не ангелы тебя пасут, а содомиты! Ну гляди, истолкут тебя черти в ступе за лжу! – вскричал Никон на упавшего в грехи старца и брезгливо пихнул его осном под ребро. Кожа на удивление легко прободилась под пикой, как хлопчатая бумага, и на синей круглой язве выступила поначалу ягодка крови. Никон ошалело, с глухой обидой смотрел на руду, как набухала она, а после протекла по коже брусничной слезою. Ишь ты, дьяволина, вроде бы шептун и навадник, кровь-то у проказника почернеть должна и свернуться, а тут будто клюковный морс – Бесстудник, гузно-то оттопырил. Больно красиво? Перепояшу ключкой, мало не будет. – Увещевая старца Леонида, как малое дите, Никон вроде бы шутейно снова вскинул посох, но голову патриарха уже забивал дурной черный туман. Сам-то патриарх урослив и капризлив, в смутные, минуты иногда вершил дела не по Божьему изволу, а после калялся, стеная. А тут изменщик пошел впоперечку, не чует за собой вины: знать, измыслил бесовскую правду, вот и кроит каждое слово наперекосяк, лишь бы совратить праведника с пути...

И Никон ударил старца как бы нехотя, перетянул комнатной ключкой по хребтине, по белой нитке шрама, и он сразу налился кровью и лопнул. Позабыл патриарх каменную мощь своей длани, и бедного чернца прогнуло в государевой пуховой перине, как умирающую на морозе наважку, только что вытянутую на лед рыбацкой удой из иордани. Бешенина ослепила Никона и повлекла в омут. Никон даже что-то вскричал, вроде бы: «повинися-повинися», худо помня своих слов. Мозглеть иноческого тела, квелость худых серых мясов с резко проступающими ребрами не возвала о жалости, но противилась ей. Вот, де, мне сладко немо вопить и корчиться под кнутом истязателя... Ах, изверги, ежедень мечтаете о рае, дозирая за чужими грехами, а душу свою губите на земле, ближних своих ввергаете в изврат. Изгоню-ка я вас бесстрашно бичом из церкви, как завещал Спаситель, и все ваши грехи взвалю на свои рамена...

Старец не ойкнул, не простонал, ничем не выдал боли, лишь беззвучный плач прокатился по сухой спине, продавленной седлом. И эта дрожь беспомощного тела, а может, и проточка крови на квелом боку иль рудяной жгут меж лопаток вдруг раззадорили Никона и дали лютой решимости сердцу. И со всей отмашки патриарх жиганул старца по крестцу, а после по изжитым стегнам и по будылинам ног, по искривленным перстам растоптанных лап, кои на своей памяти не раз умывал, когда привечал духовного отца в своей келеице, как ближнего гостя. Бедный, бедный старец! Вскричи же, взмолись о милости, и сразу дрогнет, отмякнет душа патриарха. Не душегубец же он, не убивец, не палач с Болота, чтобы так немилосердно сокрушать ближнего своего. И он, Никон, тоже плачет втайне, молит о пощаде!..

И на последях с особой острасткой стегнул Никон ключкой и правую будылину монаха переломил надвое, так что нога завернулась стопою вовнутрь. И не сдержался старец, заскулил по-щенячьи, заверещал от боли, запрокинул с усилием голову, и увидел патриарх в напряженном выкатившемся глазе кровавую слезу. И, унимая испуг, закричал Никон:

– Изменщик... До конца дней своих гнить в застенке! Спроважу в Разбойный приказ на встряску! Пусть дознаются, заплутай, что измыслил на государя. Изгоня моя на тебя до скон-

чания времен и анафема. – Никон бросил ключку, стряхнул старца на пол вместе с полосатой наволокой. – Эй, кто там на сених? Спите ли што, замотай? Патриарх вас кличет, дозваться не может!

Вбежали два недремных подьяка, смиренно поклонились. Никон спрятал взгляд. Отвернувшись к образам, приказал:

– На чеши разбойника... В Воскресенский монастырь в застенку. Пусть сгниет тамо, еродит. Он патриаршье место испакостил, охальник.

И когда уволокли старца Леонида в темничку, позвал Никон ближнего служку Иоанна Шушеру и велел кровать из опочивальни выкинуть немедленно, а к боку ценинной печи поставить широкую лавку и покрыть новым бумажным туфаком.

Поздно иноку привыкать к государевым свычаям: от пуховой перины пролежни бывают, поясицу схватывает и в гибельный покой манит.

3

– Порато наугощался инок. Дарово дак... Гляжу, волокут, как пададь. – Без укоризны, но со смущенным весельем молвил государев спальник боярин Никита Зюзин, входя без спросу в патриаршьи покои в самый неурочный час. Лишь великий государь да Зюзин и смели вот так заобыденку переступить заповеданный порог святительских покоев. – Чем прогневила тебя эта немощнейшая чадь, святитель? Знать, что-то сглула натворил?

Никон не сразу ответил. Он еще не остыл, тряслись руки. Исподлобья, боясь насмешки, глянул на гостя, перемогая душевный морок. И снова воровато уклонил взгляд, будто уличили в дурном. Да и то верно, негоже патриарху руки распускать. И так дурная слава по Москве: де, патриарх добровольно заместил кнутобойного мастера. Буркнул, снимая скуфейку:

– Слегка перетянул, а он и обмер, заушатель. К ответу призвал, а он квелый оказался. Грешить-то они лов-ки-и! – Никон удивленно хмыкнул, подозрительно вперился в гостя. – А ты чего ко мне без зову? Следишь, что ли?

Сказал – и вдруг легко улыбнулся Никон, оттаял, и сразу годы куда делись? Любим его сердцу боярин. Глаза у Никиты – как два острых осколка от иноземной сахарной глызы иль два окатных онежских жемчуга, серебристых, с голубизною на дне; крупная бритая голова шаром, тугой оклад русой бороды; боярин степенный в повадках, открытый, неспешный, круто замешенный на русском дрожжевом тесте.

– Копают?... – утвердительно спросил Зюзин. Он по-хозяйски опустил на переднюю лавку под образами, откинув в стороны полы енотовой шубы с искрами морозного снега. Светлые куцые бровки стояли хвостиками от близкой блуждающей улыбки. – Копают... и гвоздье уж сковали...

– Роют ямку, будто и подох... Отцы детей своих заживо хоронят, – Никон подал челобитную старца Леонида. – Отравись-ка ядом. Поймешь, как мне дурно нынче.

Патриарх присунулся рядом на лавку и, пока читал Зюзин грамотку, с ласковой бережностью снял с собольего ворота снежную бахромку, поняв пух в горсти и сдунул на пол: сугробик развеялся белой пылью, осел на пол и источился в шерстяной щети ковра, оставив влажную плесень... Ох-ох, не так ли и жизнь наша?... Никон пригляделся к гостю: беличьи хвостики бровей шевелились в лад губам, простодушным, припухлым, каким-то детским, так и не затвердевшим с годами. В продавлинках на тугих щеках скопилась зоревая водица. Никон вдруг порывисто прислонился губами к лицу боярина и вдохнул. «Господи, – подумал, веселея, – от хорошего человека и дух-то сытный». Зюзин готовно отозвался душою на порыв святителя и поцеловал его морщиноватую изжелта-серую руку.

– Ты нищелюб, – твердо сказал Зюзин. – А они себялюбь. – Он не удостоверил, кто это «они», но Никон знал, о ком идет речь. – Ты Бога в себе любишь, а они в Боге себя. Ты при жизни источил мирское, а они с собою нажитой тлен и прах хотят унести...

– А ты будто иной? – поддел Никон, вроде бы пропустив похвалы гостя мимо ушей.

– И я пустоцвет, до одного разу живу. И я опреснок веры поменял на сдобную перепечу мирской суеты. Но ты меня не кинешь, я знаю, ты меня спа-се-ешь! Ты ведь спасешь меня, бачка, не кинешь на Вышнем суде одного? – Зюзин искательно засмеялся, ощерившись, и плотно усаженные зубы его снежно блеснули.

– Боишься суда-то?..

– Страхом лишь и спасемся.

– Ты меня, боярин, не по заслугам чествуешь, как Христа. Не вем, где мне скитатися доведется... А ведь отец мой лаптем шти хлебал. И неуж неззорно к мужику прислоняться? Как все от меня откажутся, и ты прочь побежишь...

– И побегу от долгов, да салом пятки смажу. Чтоб не догнал...

– И побежишь...

– Ну а как же?.. Побегу за тобою. Я пристал к тебе, как репей к штанам. – Зюзин посерьезнел, но смех с трудом укладывался в широкой груди боярина. Шуба была накинута прямо на рубаху, шелковая темно-синяя котыга на восьми позолоченных гнездах, казалось, лопается на крутой дебелий шее. – Святитель, чего молвишь! Стыд-то! За что? Да коли замыслил бы дурное, давно бы к лихой дворцовой упряжке приструнился. Хоть и пасуся там, но особь. Их там много скопилось... Выскочки. И Хитров там, и Ртищев, и Матвеев, и Нащокин, и Соковнин, и Милославский. Все прежде из худородных, да зато все в родстве промеж собою, дядевья да братаны. Все в Терем под кафтаном Бориски Ивановича Морозова проползли на карачках, да зато ныне в пристяжных. Боится царь именитых еще отцовым испугом, вот и приблизил худородных. С фонарем наискал на Руси. Они верные Борискины псы, им много всего надо. Ненажористые, их мослом со стола не прокормить...

– Эво, как зло ты. А напрасно. В худородных, парень, кость да жила – гольна сила. – Никон отстранился от боярина, засуровел, приняв нарек и на свой счет.

– Ты себя с има не ровняй, бачка. Ты что-о! Ты иное. Ты-то образ Христов, а мы для тебя овчи. – Зюзин заговорщицки понизил голос, оглянулся на дверь, затянул в дуду старую музыку, кою не раз гудел, да Никон не подгуживал. Царевы уши и в печном продухе: объявит тайный прелатай «слово и дело», а потом крутись, как карась на сковороде. Потускнев вдруг, слушал Никон нехотя боярские вести. – Тебе, патриарх, лишь славы Христовой надо, а им прелестей иноземных. Ишь ли, им нынче не пристало стоялые меды раскушивать, но подавай питий заморских, чтоб брюхо пучило. Им сикеры фряжские милее нашей браги. А что сикер? Вроде как бранное слово. Сикер! Ха-ха! Нащокинский-то наследник возьми да и поедь грамоте учиться у поляков, а там польстился на этот сикер и остался у костельников. Родину на сикер променял, каково? И батько хорош, нечего сказать: не втолковал сыну, что все науки можно променять на один псалом Давида. Теперь плачет, скулит, сына назад залучить хочет, как полоняника из Орды. Да какое там, уже опился сынок Западом, на Русь плюет с высокой горы. Нынче просится Ордин-Нащокин у царя: де, спусти меня со двора к себе в поместье, де, не могу тебе боле служить верой-правдою, обесчестил меня сынок, обесил, лишил доброго имени. А государь-то ему: де, отец за сына не ответчик. А кто ответит за сына пред Богом на Страшном суде, как не отец? Значит, мало сек сына, коли хранил, тешил тело, но убил душу, потатчик...

Вроде бы и не слушал патриарх боярина, смотрел мимо гостя на потускневшие елейницы (надо масла доправить иль к непогоде?), закаменев лицом, и мыслей своих не обнаруживал. У первосвященника много тайн, все у него схвачено в узлы да в петельки до самого Царь-града: тороватым умом учен святитель, де, норовишь с другом целоваться, не позабудь

засапужник за голенищем. Много у первосвященника и шишей, и ловыг, что посажены при каждой службе, а вынюхав скрытную весть, мигом несут ее в патриаршьи покои. Никон – солнце на Руси, и до всякой тени и притенья, до всякого заулка и затулья, где может засеяться споренье и гиль, есть ему дело; под его призором пространное, многообильное царство, именуемое Русьской землею, кое ой как трудно содержать в чести и прибытке. Все ведомо Никону, и с главного Успенского амвона он должен почаству взмывать в небо, как зоркий ястреб-крагу и, чтобы случаем не осиротить, не умалить, не обнищить духом самый дальний закут Руси...

...Всё верно глаголешь, Никита Зюзин, но отчего от слов твоих гнетет душу бессильная тоска? Куда ни кинусь, кругом тын да перетыка, как сговорились все противу меня, будто я и есть сатанин угодник и шиш антихристов. Знаю, о чем плачешь, ибо про то стонет всякое неодрябшее русское сердце. Пасу в строгости паству, говорят, де, преизлиха сердит: чуть размякнешь, по шерсти погладишь, молвлют, де, батюшка наш богомольщиков русских бесам продал. Что вино... Не в вине дело, боярин, и не в сикере. Не проклято вино, но проклято пьянство. Не грешно пить, но грешно упиваться. Не виновата бочка, что в ей вино. Худо, что знатные слуги государевы повернулись лицом на закат солнца, а задницей к родимому дому. А куда отец смотрит, туда и синовий взгляд обращен. Много хмельных голов ныне с иноземных затей; чужебесам древние обычаи не по нутру, они готовы и кожу-то с себя содрать да взамен новое чужое обличье натянуть, чтобы им похвалиться. Эти худородные толкают государя на турка не потому, что Греция им мила и хотят оградить Царь-град от Махмета, но чтобы от Польши он отступился, ибо про то костельники, папешники шибко хлопочут. А нам с турком нынче никак не сойтись в бою, пока Польша со свеями за спиною, а с ними и все еретики. Вот и Ордин замиренья у царя просит, де, негоже долго с братьями славянами ратиться. Да потому, путаник, и надо до победы с униатами ратиться, чтобы из латинского ярма ихнюю голову вынуть, а душу обратить в православное чувство...

Эх, кругом одни плутни: с холопа, как с бессловесной скотинки, готовы последнюю шкуру драть, чтобы те кровавые слезы поменять на прокаженный иноземный сряд... Ой, заликовствуют бесстыдники и завистники со всех сторон, коли паду с патриаршьею стулки и загремлю. Много шуму будет, и вся земля сотрясется.

А впрочем, чего я разнюнился, с чего разнылся? Ни облачка в небе и грозой не грозит, и друг собинный постоянно спешит за советом в Крестовую, и православные прихожане с Малой и Белой Руси шлют ко мне посольства со смиренным поклоном, прося заступы. Нет, грешно плакаться и шарпаться: Бог милостив ко мне, долго терпит мои дурни. Знать, с того и ноет душа, что издали чует грядущие невзгоды, ибо самые черные беды подстерегают нетревожного человека во время пира.

Много нынче завелось разорителей церкви под всякими личинами, кто доброе жито веры поменял на спорыню...

– Они друг за дружку удавятся, видит Бог. Такая у них сплотка, что и лезо ножа меж има не протиснуть, – глуховато толковал Зюзин. Боярские речи вдруг словно бы проткнулись сквозь толстую стену и достигли патриаршьего слуха. Согбенный Никон походил на древнего врана. Смуглым вещим оком он внимательно взглянул искоса на боярина, увидел споднизу русой бороды молочной белизны кадык и розовый следок, намятый на коже тугим воротом рубахи. Поленился боярин, не скинул в жаркой келейке шубу, и под мышками проступили темные разводья. Зюзин и сам-то в возбуждении был, как печка – Павла, Крутицкого митрополита, уськают да Иллариона Рязанского, чтобы подпятные жилы тебе резали. Спорь, говорят, с Никоном, ни в чем не давай отступа и роздыху. Чтоб всё на отлуб и впопечечку. Де, Никон – гордоус, сам взорвется когда ли. Де, жмите на мозольту, подтыкайте. Изх, псы борзые! – воскликнул боярин с горестью.

– Они ж клялись мне большой клятвой во всем слушаться. Плакали тогда, а сейчас, оглагольники, во всякой мелочи меня судят.

– Знать, волю царя чуют?

– Но-но...

– А пошто бы тогда не заступиться за собинного друга? Я не зазрю, что дело это с царева ведома, но мнится», с царевой потачки. Ишь ли, хочет быть масляным блином для всех. Одернул бы хоть раз хорошенько, чтоб неповадно. А то и старых родов бояры на тебя круто пообиделись, де, ни во што не ставишь их честь, ниже псалтирщика сронил. Страшно слышать, патриарх, какие хулы на тебя клепят.

– Ты к государю не притыкайся, Зюзин. Иль позабыл гнев его? Князь Иван Юсупов за што угодил в Белоозеро с женочонкою и с дитешонками? Позабыл? За то лишь, что не донес государю о хульных воровских словах человека своего Васьки Михайлова, – вторично одернул патриарх. – Тешитесь местом своим и славою. Де, не настигнут. А?.. Голова не волосы – не отрастет. Смелой больно, – прогугнил Никон нарастяг, дружески подтыкая боярина. – Как бы локоть после не кусать. Ну, да ты не робей! Своими полами прикрою...

Боярин смутился, но не от дерзости лишней, а оттого лишь, что решился Никону впоперечку встать, заговорил с великим государем, как с ровнею. И потому сразу перекинулся в разговор:

– Слыхал-нет? Бахметьева Ефремку нынче кнутом били...

– Видать, за дело? – вяло откликнулся патриарх, думая о своем.

– Племяши Богдановы два Ивана насмелились. Такие находальники, почуяли волю. Принялись у Ефремки Бахметьева имение отымать, а тот им кукиш. На постельном крыльце объявил их недомерками, а Богдана Хитрова главным гилевщиком и заводчиком. «Слово и дело» крикнул. Де, будучи когда на государевой службе на Азовской степи, заводил Хитров завод в убойстве боярина Бориса Морозова, царева дядьки. И в деле том якобы замешан был князь Трубецкой. Грозился Хитрова разорить и в Сибирь сослать...

– Дите неразумное. Позабыл, что с сильным не борись. Морозов Богдашку за чуприну на Верх вытянул. И такого не смекнуть? Знать, поделом Ефремке. Возомнил, спесивец, что он царю однокорытник. Ближнего государева слугу облаял, пес шелудивый. – Никон брезгливо выпятил верхнюю толстую губу. Процедил угрюмо, как бы плевок из себя исторгнул: – Бестолочи... Все бы им свару варить. Воистину: по плодам их познаете их.

Часть вторая

*Будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою,
зело потешно и угодно, и весело, да не одолеют вас кручины и печали
всякие.*

Алексей Михайлович

Глава первая

Знать, от деда Федора Никитича (в постриге – инок Филарет) и от дядьки домашнего Бориса Морозова возлюбил царь Алексей охотничьи потехи.

Отец Михайло в молодые лета был сослан с матерью на Белоозеро в монастырские стены под строгий караул, деда же насильно постригли и отвезли на Двину. Уродился Михаил вялым натурою, тихим, медлительным, склонным к мечтаниям, с ознобленной утробой, отчего почасту глубоко грустил и жил во власти кручины, и всякой сильной воле уступал первенство с охотою, как бы добровольно сымал с плеч тягость неотступных государевых дел. Невея с косою постоянно стерегла за его плечом и скоро сманила христовенького в могилу. Но отчего же народ-то русский всякой службы и чина, многих городов с пригородами вдруг напророчил на престол его? Вот и келейному старцу было видение, де, Господу нашему угоден отрок Михайло, инока Филарета сын, что страдает нынче в польском полоне; вызвал люд московский из боярской породы самого негромкого человека, спасенного Ивашкой Сусаниным, и покрыл царевым венцом: видно, устала Русь от самозванцев и самохвалов, лихих беспокойных людей, жадных до власти.

Деда Федора Никитича Романова и жесткий затвор в Сийском монастыре не угомонил. Пристав Воейков, что дозирал за опальным иноком, доносил Борису Годунову с Двины: де, старцы жалуются на Филарета, будто он ночью третьего февраля старца Иринарха, жившего в одной келье с ним, лаял и с посохом к нему прискакивал, грозя казнь учинить, и из келеицы на мороз изгонял, не пуская назад; а живет, де, старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил, а к чернцам почасту жесток и даже угрожает им: «Увидят, де, они, каков он впредь будет...»

Есть дурной сглаз, запуки и порча от обавника и чародея, вedom насыл на след и напуск по ветру от колдуна, когда прежде здорового человека выложет черная немочь в «стену», в нитку вытянет, в ком дух едва жив от долгих страданий. И в Терем государыни не раз приводили знахарей и травников, чтоб избавить дитя роженое от лихого напуска. Но любовь к охоте – иная хворь, от коей и ограды, пали и затворы всего мира не уберегут: эта сладкая болезнь желанна и вдруг заселяется в сердце как бы с молоком матери в самые ранние лета, когда младенец еще поперек кровати спит: как бы сама ежегодь умирающая и вновь воскресающая природа незаметно пускает свою отравную стрелу, оставляет на лбу дитяти малаксу тайного посвящения, и столь глубоко затравливает ребенка в себя, в свою сокровенную, непостижную душу, что этот благоговейный азарт, не умирая, сходит с человеком в могилу.

Будущему государю еще в детстве покупали на птичьем рынке потешных птичек – воробьев и чечеток, синиц и зябликов: они чивкали и в Верховом Теремном саду, и в спальне царевича. И какое же маленькое сердце не вскрикнет от восторга при виде крохотных птах, коим неустанно благоволит сам Господь и коим словно бы для того и жить назначено на белом свете, чтобы умирать от жесточи и гордыни человечью грудь. Впервые царевич пустил

сокола в дивный лет на подмосковной усадьбе дядьки Бориса Ивановича Морозова, что имел богатые псарни и птичьи дворы, и с той поры стал охотником достоверным, истинным, заклтым, кой в птичьих, полевых и зверовых потехах отыскал себе высшее счастье и глубочайшее волнение. Через охоту лишь и птичьи забавы Алексей Михайлович познал Божественное естество русской природы и чувственную поэзию лесовых потех. Царя постоянно тянуло из хором на волю, на весенние пойменные бережины и травяные калтуса, на стынущие осенние поля, на зимние осеки и зверовые травли; не от царицы-государыни бежал он из Кремля, не от важных государевых дел, которым был предан неотлучно и решал их даже в Успенском соборе во время службы, окруженный ближними боярами, но сами тихие мреющие холмистые дали, густо усаженные елинниками и дубравами, дремлющие под низким, тяжело парусящим мгlistым небом, неотразимо зазывали его к себе. В любую погоду, в распустье и бездорожицу царь отправлялся в подмосковные вотчинные земли московских князей, в Коломенское и Измайлово, Семеновское и Хорошево, Кунцево и Преображенское, в Тарасовку и Тонинское, в Пустынь и Рогочево. Когда и в богомолье шел государь в Троицкую лавру иль в Саввино-Сторожевский монастырь, в Боровск иль в Можайск, то и в ту пору он ловил всякий удобный случай, чтоб призамедлить в путевом Дворце иль разбить походные шатры и призабавиться соколиной иль псовой потехою. И даже в военных походах государь не позабывал об охоте, и вместе с дворцовыми поезжанами и многой челядью, с жильцами и детьми боярскими в строю ехали псовые и зверовые охотники, стремянные конюхи и сокольники со всей подобающей стряпней.

Пожалуй, это был единственный в Руси царь-охотник, царь-поэт, что душою растворялся в природе. Однажды Алексей Михайлович поехал отведывать, пробовать птицу на добычах, и вот между Сущевом и Напрудным наехал он на «прыск», на наезженное, торное место, по весеннему времени еще залитое водою, и стал пробовать соколов.

«... А в длину та вода шесть сажен и попереk две сажени, да тем хорошо, что некуда соколу утекчи, нет иных водиц близко, – отписывал доверительно государь, как ровне своей, ловчему Афанасию Матюшкину, оку государеву, что ставил охоты не из страха, но из любви к делу и царю, с коим был связан не только родством, но и дружбою. – Отпустили сокола Семена Ширяева: дикомыт так безмерно какво хорошо летел, так погнал и осадил в одном конце два гнезда шилохвостей да полтретья гнезда чирят, так вдругоряд погнал, так понеслось одно утя шилохвость и милостию Божией и твоими молитвами и счастьем, как он мякнет по шее, так она десятью перекинулась, да ушла теща в воду опять: так хотели по ней стрелять, почаем што худо заразил, а он ее так заразил, что кишки вон: так она поплавала немножко да побежала на берег, а сокол-то и сел на ней...»

А бывало на двух дворах кречатных в Коломенском и Семеновском селах до трех тысяч соколов, ястребов, челигов и дерлигов, и государь помнил почти всех, ибо каждой ловчей птице давал имя самолично, по характеру ее; Алексей Михайлович наказывал берегчи кречетов пуще жизни своей, и за малейшую оплошку секли виновного нещадно, как злого вора, и садили на чепь, на хлеб-воду. Якуты, что везли соколов из Сибири в царскую казну, почитали кречетов вестниками небесной воли и боялись коснуться Урун-Кири голой рукою, чтобы не оскорбить птицу. Для государя белый кречет был с юных лет как бы ровнею с ним в почестях, ибо царил в небе, как он, державный, увенчан Господом безмерной властью на земле: и потому уряжал Алексей Михайлович любимых птиц в злато-серебро, дорогие бесценные каменья, в шелка и бархаты, и ежедень кормили их челядинники свежим и здоровым говяжьим, бараньим и голубиным мясом. Голуби собирались со всего государства, и крестьяне везли их в престольную в потешные дворы как бесплатную голубиную повинность. Но соколы часто болели в неволе, слепли, и дворовые знахари бывали бессильны в своем лекарском знании. Царь гневался тогда, горевал, и все новых вестников небесной воли везли податные ловчие сокольники со всех засторонков Руси...

Глава вторая

По государеву указу на Рождество надобно быть в престольной, а приволоклись христовенькие в канун Пасхи, когда уже просовы и зазоры появились на дорогах, а в низинах и вовсе кисель, заводянула, разжижла колея, хоть на телегу станови сани. Да и то сказать, не спеши, милой, загадывать, садясь в сани и прощаясь с родней: бывает и так, уселся молодец-похвалебщиком, а привезут во гробу. Человек предполагает, а Бог располагает.

...От Мезени до Москвы не близок путь, черт мерил-мерил и веревку оборвал. Не сахарными головами вымощен, не винными чарками выставлен. Настроено заказано помытчикам вино пить на ямах и табаку курить. Весь иззябнешь, ведь не лето красное на дворе, каждый мосолик взывает о милости и ушной естве, и как бы хорошо бражнику с устатку, разморясь в тепле постоялого двора, плеснуть на каменицу, хоть бы из ковшичка пригубить стоялого меду здоровья лишь: но ни-ни, зорок косой глаз царева сокольника, сурова, ухвистиста его длинная рука.

Только миновали Дорогую Гору, тут и посыпало, как из преисподней, замутовили черти небеса, наслали завируху, глаз не продрать. Встал снег ровной шумящей непродышливой стеною, и в этой замяти напозорились мужики, едва пробились сквозь тайболу до Холмогор: не раз возы опруживало на снежных сувоях, и помытчики на чем свет стоит костерили пустоголовых нерадивых ямщиков, исстрадались за укладки с птицами, а цареву сокольнику Елезару Гаврилову и вовсе страх. За каждое сроненное перо немилость государева грозит. А с ямщика что возьмешь? Он до ближнего яма занаряжен, а там выпится на печи и обратно в дома, сам себе господин. В этой завирухе влезли в Холмогоры, где за поздним временем оставили часть птиц на кречатьем дворе. Тут обоз разросся, с Тиунского и Терского берегов тоже подгадали помытчики найманных к этому времени соколов и ястребов. На дорогах баловали лихие люди после московской чумы и гили, и холмогорский воевода Яков Тухачевский послал пятерых стрельцов в помощь для великого береженья.

И отправился обоз на Москву о край Двины машистой ступью, упаси Боже, чтоб на рысях, с великим старанием и опаскою, ибо не ведали помытчики в своей жизни больших сокровищ, чем царские ловчие птицы: ведь добрый кречет стоил больше тыщи рублей, это, почитай, годовое жалованье сотни стрельцов. На каждом яму меняли лошадей, ибо у Елезара в тайной зепи хранилась царская грамота за государевыми вислыми красными печатями, по которой с помытчиков на внутренних таможах не взималось пошлин.

На привалах доставали из ящиков соколов, кормили свежим мясом, для чего птичьи охотники из пищалей и луков доставали коршаков, осорьев и голубей, коих водилось по лесам в великом множестве. Елезар мрачно дозировал за становьем, подскакивал к сокольникам и кричал по-пустому, в сердцах, де, пошто медленно тащатся, как покойники, да плохо следят за птицею: он боялся за молодых челигов, которые в долгом пути остерблют, перерастут, и в кречатнях служивые намучаются до слез, вынашивая их; а если наддавали ямщики ходу, то и тут Елезар бранил Кирилла Мясникова, старшего помытчика, де, пошто он худо радеет о деле и не блюдет ямщиков и возы, де, не диво, ежели на раскате розвальни опружит, кладь опрокинется и саньми передавит весь промысел. Елезар часто обгонял обоз верхи, горяча лошадь, тряс саблею в ножнах, а после неприметно опадал, успокаивался, голова скачивалась на грудь, и он, царев слуга, задремывал, опершись обеими руками на деревянную луку седла. Высоко задранные в коленях ноги, просунутые в короткие стремяна, принакрывало длинными полами зипуна, и тогда походил строгий до надоедности царский посыльный на старого степного орла; помытчики хихикали в его сторону и отпускали соленых деревенских пуль.

Какие кречеты-дикомыты сильно взыгрывали, тех умиряли держанием, потчевали сквернами и водяниною, сильно вымоченной в воде бараниной, чтобы птица утратила лишнюю резвость и слушалась помытчиков.

Любим в дороге часто отворачивал край оленьей полсти и жалостно приглядывал за белым кречетом: птица нахохлилась, как старая больная курица в непогоду, хвост обвис, и перо потеряло шелковистый блеск. Где ее прежний властный постав, дикая злоба перламутровых иссиня глаз, захлебистый воинственный грудной клекот? И неуж эту падаль он, ушкуйник, поднесет в подарок любимому государю? Жалеючи, Любимко однажды вздумал на привале напустить кречета на лесового ворона, что надоедно корготал, водил круги над их становьем, выглядывая падаль, пристально озирал возы, расставленные вкруговую. Любимко уже достал кречета из ящика и повабил на кожаную рукавицу, собираясь сдернуть с лап опутенки, как тут подбежал вдруг царев спосыланный и с ходу жиганул парня плетью по спине, высек из малицы клочок оленней шерсти. Крута рука у начального сокольника. Любимко поднялся на дыбки, как шатун-медведь, оскалился злобно, в крохотных сумеречных глазках сверкнула опасливая жесточь, а набитые ветром щеки полыхнули жаром от обиды. Да и то, с самого рождения никто не то чтобы не бивал, но и пальцем не задел Любимку: он уже второе лето, почитай, атаманит на Окладниковой слободке в кулачных боях, сходясь на заручьевскую стенку. А тут сыскался аред, руки распустил.

«Ты, хорек вонючий! А ну, пади ниц, пока цел! – Любимко ловко вывернул нагайку из руки сокольника, посунул кречета в лицо Елезара. – Раскрою черепушку-то, как гнидку. Выдерну руки, палки вставлю. Ишь распустил...»

Елезар отшатнулся, кровь отлила с впалого лица, и ярче вспыхнула ржавь острой, клином, бороды, и взметнулись лисьи брови. Взгляд царева слуги разбежался еще пуще, один глаз уставился на Казань, другой на Москву. Елезар задохнулся не от робости, но от растерянности, торопливо отыскивая рукоять кривой сабельки, туго всаженной в ножны. И быть бы тут беде, знамо дело! Но от своих возов уже спешили стрельцы и мезенские помытчики. Кирилл Мясников обхватил сокольника сзади, завернул руки. Частил задышливо в самое ухо:

«Батюшко, Елезар Григорьич, государь. Охолонь. Не наведи беды. Шшанок ведь. С кем связался? Дите. Мы сами его посекем».

«Сами, сами поучим», – закричали мезенцы, скрадчиво подмигивая Любимке: де, поди прочь, парень, остынь, не засти свет, бестолковый.

Любим откинул нагайку в снег, ушел за возы. Обида, не замирая, жгла сердце. Пыльное крохотное солнце едва прояснивало на мутном небе, обещало пургу. От солнца накатывала тревога. Но вот хмарь, теснившая грудь, сама собой источилась, и Любимко невольно прислушался к разговору у огнища, ловя каждое слово. Сокольник царев ярился и все еще поминал сутырливого парня, обещал навести суд:

«Конья калышка... Тьфу. – Сокольник сплонул в снег и растер валяным пимом. Помытчики согласно загалдели. Приспела выть, уже котел-кашник с кулешом сняли с мытаря, согласно застучали ложки. – Знать, плети не пробовал, баловник. Алешка Багач не тебе ценой, молокосос... А вот эдак же напускал птицу в пути да потерял. Долго ли потерять? Взыграет – и ищи-свищи в чужих местах... Привязали Алешку к кольцу и били нещадно кнутом, да по цареву указу посадили на шесть недель в застенку, – уже успокаиваясь, досказывал сокольник артельному старосте. Тот согласно поддакивал. – Не ему цена, отелепышу. Самого Багача на цепь, сокольника первой статьи».

Не дождавшись, когда поедят толком, снова зашумел Елезар, полез на коня, наискивая стремя. К ночи надо попасть на ям.

«А ну в путь!.. Трогай, трогай!.. Разворачивай возы!..»

Мужики у костра спешно доели кулеш, собрали путевые пожитки, осмотрели табор, не забыли ли чего. Старшой подошел, на правах артельного старосты загундел Любимке, сам побаиваясь его кованых кулаков, известных на слободке:

«Ты иди... помирись... Скажи: прости. От тебя не отвалится. Поди, Богом прошу. Еще сколько до престольной попадать. Заест ведь, как вша. Кликнет „слово и дело“, раскатают на кобыле за озорство. Ну, поди, поди, Любимушко, не противься... Я тебе кулешу приспел. Поторопись, пока горячий. Поснедаешь дорогой. Ну?!» Артельщик подтолкнул Любимку в спину, тот, волоча ноги, нехотя, как на смерть, потащился в голову обоза, где маячил верховой сокольник. Помытчики, ухмыляясь, отворачивались, будто не видели Любимкиного позора. Парень подошел с завитерья, притерся к заиндевелому крупу коня, буркнул в немую спину сокольника, туго перехваченную ремнем, в островерхий кожаный башлык:

«Ну ты, дядько, слышь? Ты прости, коли... Я тебе еще сгожуся. Ты побей меня, потешься. Только не держи сердца». Любимко покорно сронил голову в заячьем треухе. Уж больно ему хотелось в престольную.

«Шшанок. Видит Бог, лишь за-ради батьки твоего прощаю, – Елезар не глядя, с разворота хлестко ударил нагайкой по плечам, перетянул по спине, но уже незлобиво, с ленивым протягом, больше для острастки, для прилики, чтобы неповадно было шалить обозникам и стрельцам в походе. Де, царев он человек, Елезар Гаврилов, в важной государевой посылке, и баловать с ним не след, себе дороже. Проскрипел: – Больше не шути, потаковник. Негоже». Сокольник потуже надвинул на брови малахай, подбитый белкой, и стал походить на татарина. На ржавых усах его мелькнуло подобие улыбки.

И уже с легкой грудью, с какой-то сердечной радостью повалился Любимко в розвальни, надвинул на голову маличный куколь, повыше к рассохам натянул домотканые трубы походных катанок и понюгнул лошадь. И блеснула молочно-белая зернь зубов в кудрявой поросли бороды, и затянул парень что-то протяжное, поморское про шальную молодецкую голову. Все было внове Любимке, все в науку, в Божий промысел и старательский размысл. Взвизгнули пристывшие к ледыхам полозья, заскрипели обвязки саней, захрустела обмерзшая шлея, тепло ударило в лицо лошажьим потом. Закрой глаза, и поволокет в тягучий дурман. Как в зыбке на очепе, с раската на раскат: скрип-скрип... Открыл глаза, а пред твоим взглядом все те же плавно ступающие мохнатые, в морозном куржаке ноги, изредка бьющие в передний щит розвальней. Тянутся, набегая и вновь отступая, лога и распадки, густо изброженные лесовым зверьем и птицею, всклень налитые синевой; неожиданная церковка на холме, серенькое сгрудившееся стадо избенок, пригнетенных снегом, погост, убродная сажная тропка к реке на иордан, иль к мовной прорубке, серый креж крутого берега с глыбами ледяных стамух, вставших торчком, зеленых на стеклянном изломе, витой легкий пар из рыбацких майн, где, скрючившись, колготятся с неводом мужики. Гос-по-ди-и, как славно-то! Будто из дому не выезжал: все так знакомо. И месяц тащись по земле, и другой – и все Русь, и нет ей конца! Этой мыслью впервые ознобило Любимку, и он чуть не вскричал от неожиданного открытия и от восторга, что распер грудь...

Под Красным Бором выбрел на дорогу лядащий мужичонко, то ли погорелец, иль гулящий какой, иль калика переходжий: был он в дерюжном коричневом понитке и валяном колпаке, в разношенных катанцах и с тощей кошулей за плечами. Он встал о край дороги и, пока проходил обоз, истово крестился и причитал: «Христа ради, приберите немощного, не оставьте помирать». На сером сморщенном лице его с кудлатой серой же бороденкой, казалось, уже отпечаталась близкая смерть. Куда попадал юродивый, Бог весть, но он, как чертополошина, торчал вот посреди снежной пустыни и готов был пасть под первым же порывом падевы; а ветер к вечеру уже заподымался, потянулись по равнине снежные хвосты, поносуха обвивала искристыми змеями путника, утопшего по колени, свивалась кольцами, погре-

бая в стылом своем чреве. Бесы скакали по бережине о край Двины, дули в кулак и присвистывали, пристанывали злорадно, наводя испуг, прибирали в могилу всякого, кто насмелился об эту пору оказаться один в лесном засторонке... Елезар проехал мимо, отвернувшись, крупом лошади оттер милостынщика глубже в забой: не велено царевым указом подбирать в обоз с птицею сторонних людей; после сокольник остановился и придирчиво, помахивая нагайкой, просмотрел весь обоз, чтобы кто не сжалился случаем над путником. Вот и последние сани поползли прочь; Любимко лежал, укрывшись в оленный совик, и вдруг, случайно обернувшись, запоздало увидел одинокую будылину: старик обреченно стоял, опершись на батожок, и криво скусывал с усов намерзшие ледыхи.

«Ты чего, батя, заблудился?» – крикнул Любимко навстречу нарастающему сиверику и захлебнулся ветром. Старик с виноватою улыбкой вяло пожал плечами, вышел на середку санного пути и тихо поплелся следом. Только что день вроде был, а тут разом сизой пылью осыпало снега, потускла небесная лампада, и мигом все смеркло, и в небе встали закатные огненные крылья. «Живая душа ведь, – подумалось мельком, – что ли, пропадать ему?» ...Эх, молодо-зелено, что замыслил опять? знать, не плясало лихо на твоих негнучих налитых плечах? Давно ли обозного старшинку довел проказами, неслух, и вот снова на беду нарываешься? Остерег скользнул сторонне, как бы для другого, но так зажалелось внезапно вовсе чужого случайного путника. Любимко натянул вожжи: «Прискакивай, Божий человек! Шатун, коневал иль от бабы сбег?» – «Да не-е, я сам по себе. Храни тебя Господь, сынок».

Странник устало, боком завалился в розвальни, на край оленной полсти, а сил уволочься повыше на кладь уже и не нашлось – так разбила дорога сердешного. Не успели разговориться, как подскакал целиною царский сокольник, зычно вскричал, сердито встопорщил усы. На Любимку и не глянул:

«Чей будешь? Лихой иль беглый?»

«Инок я. Зинов, – неожиданно звонко, текуче ответил странник. – От соловецкой братии спосылан с наказом дойти до государя и пасть пред очии. Вот и бумага подорожная выправлена игуменом Досифеем. – Мужичонко полез за пазуху, долго копался там, нашаривая, синие губы выбивали дробь. Забормотал, пряча взор: – Кабы гуляющий иль вор, то был бы сечен да увечен. А я, как гривна царская, без щербин». Широкий рукав понитка задрался, заголилось худое запястье: зоркий глаз сокольника даже в сумерках чудом поймал натертый след, какой бывает у колодников.

«А это че?» – ткнул рукоятью плетки, резко склонившись с седла. Но путник не смутился, без запинки ответил:

«Да игумен было ссаживал в тюрьму... За истину бились, собачились. Не дай погибнуть, господине, не гони. Зачтется на том и этом свете».

Вроде бы и просил мужичонку, прискучивая, но в голосе почудилась насмешка. Елезар привстал на стремянах, покрутил головою в потемни, будто испрашивая у кого совета, но с молодым помытчиком связываться не стал, помня недавнюю прю.

«Смотри, парень. На тебе грех. Башкой ответишь мне, ежели что».

Стеганул коня нагайкой и ускакал. Обоз скоро стерся в ночной наволочи, как бы скрылся за каменную стену. И странно было слышать среди снежной тайболы дальний перелив поддужных колокольчиков. Будто ангелы на свирели играли.

«На ём грех-от, на ём. А за тобой святая правда. Дай тебе Бог здоровья, родименькой», – сказал старичонко и освобожденно вздохнул, заелозил, укладываясь, переполз повыше на кладь. Его все еще знобило. Любимко накинуд на инока край одевальницы, подоткнул с боков. Со всех сторон надвинулась аспидная морозная темь, уже звезды ярко затеплились, и едва мерещилась отбегающая прочь дорога, отблескивающая зальдившимся санным следом. Третий час ночи, а как пред утром.

«Чей будешь-то? Чьих отца с матерью?» – спросил инок, когда отмолчались. От него нанесло по ветру постом и елеем: так же свято пахло, бывалоче, от брата Феодора. Любимко сразу вспомнил дом родимый, схоронившийся за дальними волоками.

«С Мезени мы, батюшко... С Окладниковой слободки попадаем с птицею до самого царя, – ответил, гордясь. И тут Любимку осенило, что старик-то с благословенного острова. – Слушай, отче, а ты случаем не знавал тамотки Феокиста, будильщика такого?»

«Да как не знал, родимой. В келье одной жили. Крутой веры человек...»

«Да это брат мой! – вскрикнул Любимко. От такого известия он как бы сразу породнился с богомольником. – Ну ты даешь. Чего сразу-то не открылся?»

«Сразу... только в гроб, – хмыкнул в темноте инок – Бесам-то воля-я! – Он неожиданно разговорился; темь обычно сближает людей, отзывисто распаиваются души навстречу, и каждое изреченное с теплотою слово находит благодатную почву. – Воля-я бесам-то. Расско-чились ныне по всей земле Руськой. Ждут прихода антихристов, злыдни, чтоб собраться в рати да пойти казнити добрых людей». – «И неуж, батюшка?» – «Истинный крест. Слышал дороною, де, на Суне-реке шиш антихристов объявился, поди, в полуполковниках у него. Сушеное сердечко детское толчет, дьявол такой, да в причастие святое сыплет, баламутит той отравою народ да над верой православной изгаляется... Слышал-нет про того навадника?» – «Не-е, святой отец, мы в своем куту во спокойе живем». – «Поди, и про подметные письма, про еретические книги, зовомые новопечатными, не ведаешь?» – «Не-е...» – «Воистину в звери-ном углу живете, христовенькие, как дети, пасомые самим Спасителем. Отче наш, Иже еси на небесех... И про сатанина угодника, зовомого Никоном, не слышал, что мучит православ-ных, творящих поклоны по отеческим преданиям, а сам крестное знамение толкует развра-щенно по своему умыслу?» – «Тише, тише, отец родимый. Слышал про первого святителя, зовомого Никоном, от братца Федора слышал. Брат на него порато гневен и толкует страш-ное. И ты вот, батюшка, как-то вольно судишь. Не боишься в срубец угодить?» Любимке больно говорить, усы и борода смерзлись от дыхания: он то и дело снимал рукавку на соба-чьем меху и сдирал с шерсти ледяные катыхи. Испугавшись, он даже приподнялся невольно на локте и огляделся, нет ли возле соглядатая. Обоз въехал в елиник, плотно теснящийся о самую дорогу, и стало совсем непроглядно, даже вспухший, как опара, снег потерял свой серенький призрачный туск. Лошадь все так же мерно ступала, екала селезенкой, шумно метила дорогу коньими яблоками. «Да как не страшуся, сынок. С тем и спровадила меня братия: де, поди, Зинов, сам глянь хоть одним глазом, уверься, правду ли бают на Руси: де, к благочестивому царю нашему притесался баламут, что был на Соловках агнцем, но стал на Москве вором. Улыскается, ворух, срамословит постоянно, метит нас еретической печатью; а рассказывает, я-де делаю по Евангелию. Ой, Спаситель мой, смутно стало на Руси и темно, как в зимней ночи. Вроде и друг при друге толчемся, и дыхание чуем, а уж слов не слышим и друг друга не видим». – «И откуда вы сведали все?» – «Э-э, милоч... Только покойники возносятся на небо, не оставляя следов».

«Надо же, говорит, как по писаному», – подумал Любимко и лишь собрался спро-сить: де, и неуж царь-батюшка не чует экой беды? – как лес разом оборвался; обоз выка-тил на двинские заснеженные бережины. Совсем рядом мигнули живые огоньки, рассеян-ные по-над сугробами, они шевелились, западая за прихолмок, заигрывали с настуженным путником: то светили на крепостном валу вахтенные фонари. Царский сокольник и стрелец-кий десятник тоже запалили смолевые факелы, чтобы дать знать о себе. Из угловой башни острожка лайкнула вестовая пушчонка, по стенам забегали люди.

То был Кай-городок.

Помытчики воспрянули, ожили, только сейчас почуяв по-настоящему, как заколели, ознобились телом. Лошади прибавили шаг: впереди ждали ночевка и нажористая еда.

Под собачий брех обоз попал в посад. Снегу намело под самые крыши избенок, и лошади ступали по дороге, как по дну ущелья. Любимку поразило, что хижи малеханные, как баньки, в три окна, топят по-черному, видно, голь перекатная ютится, коли у лесу да в собачьих будках живут. У них в Поморье всяк в хоромаш двужирных бытует, гобины нажитой и за день не перечесть, оттого тамотки и баб-от кличут уважливо бояронею, да княгинюшкой, да государыней. Кой-где бычьи пузыри отсвечивали сквозь наледь желтым, знать, у лучины запоздало трапезовали, справляли ужну, иль хозяйка вела заделье у светца, не зная сна. Надо же: и тут люди живут? – в который раз изумился Любимко. Обоз выкатил на площадь, остановился у стены острожка. Стоячий наостренный чеснок был забит давно, уже изрядно замшел и пообветрел, кой-где шатнулся набок: нет, тут обороны не держать. Видно, во спокойе живут. С летней стороны преизрядно надуло снега, и можно брать крепость приступом без лестниц и кокотов. По всему, плохой хозяин зазирает острог.

У рогатки по эту сторону стены у костра топтались воротники с топорками. Царский сокольник надел гостевую шубу пупчатую под дорогами зелеными да шапку стеганую колпаком с соболиным оком, повабил на рукавицу сокола и в сопровождении стрелецкого десятника подошел к вахте.

– Дай Бог здоровья, робятки! Каково разживаетесь, православные?

– Всяко... И тебе того, господин.

– Отворяйте-ка живо ворота. Измерзлись, как цуцки, попадамши. Сопли на губах намерзли. Сейчас самое время щец да кашки гречишной... Уж сил нет терпеть, так изголодались. – Левою рукою Елезар держал заклобученного сокола на уровне груди; тот тяжело, со свистом махал крылами, порываясь слететь с кожаной рукавицы: его манил горький запах костра и слабые блики пламени, что споднизу просачивались под клубочок. Десницу царев слуга подоткнул под цветной вязаный кушак с лядункой и саблей: он был осанист, сокольник, и гордоват, старой дворцовой выучки. Не в одной государевой посылке был и все исполнил ретиво. За верную службу имел Елезар восемьсот четвертей земли и две деревеньки под Рязанью, куда нынче собрался отъехать в гулящую на полгода. Истосковался по жонке и дитешонкам, вот и норовил скорее угодить к Москве. Вишь вот, из смердов вроде бы, но в диковинку высоко взлетел на зависть и поклон совсельникам, кабальным мужикам. И Елезарову семени теперь верная дорога в престольную. Но стрельцам-то что за диво? Они всякого навидались за службу. Ну и пусть восемьсот четвертей земли у сокольника и шуба из соболиных пупков, но зато у них два рубля годового жалованья, да четыре пуда ржички на душу в зиму, да своя торговлишка, и избобка какая-никакая, и животишко, и дитешонка. У всякого свой круг жизни, и редко когда пересекаются они. Но в северной ночи у стрельца-воротника куда больше власти, пусть хоть сам боярин встанет пред очию. И тот, что повыше, сутулый и седатый от мороза, глухо пресек:

– Не велено пускать. Кругом шалют. Объявились воры. И попа вот беглого ищут на дорогах. И стрельцы в отсылке, – разом, не чинясь, доложил стрелец и помешал в костре, раздувая огонь: пламя взметнулось в бездну, выстреливая алыми пчелами. Обозники столпились за своим вожатаем, чуя на худое. Зароптали, загомозились, кучась, искали друг в друге опоры. Да и то: мыслили ожить в тепле, обработать горяченьким, только этим ожиданием и терпели дорогу, а тут их, как паршивых собак, выпехивают на мороз. Слыхано ль, чтоб над сокольниками так возвышались, не робея и не боясь отместки? «Пускай, харя! А то забьем пику в заход! – заревели, мигом накалившись. – Наел рожу-то на дармовых. Небось всех девок изворовал, ворух!»

– Цыц на вас! – прикрикнул Елезар, строжась нарочито и вместе с тем заискивая пред вахтою. Сколько таких караулов в Сибирской земле выстоял он в молодчестве и знал верно, что стрелец – служивый подневольный и самовольно ершиться, голову задирать николи не станет. Самому дороже. И потому попросил миролюбиво, не возвышая голоса: – Слышь,

паря? Ты войди в нашу невзгуду, милоч! Хоть воеводу кликни на этот час: не помирать же на ветру.

– А мне что с того?.. Не велено. Чай, глухой? Так под-но-ровлю ратовищем!

Но не успел вспыхнуть Елезар, как завозился в проушинах засов, звонко брякнуло тяжелое кованое кольцо, отпахнулась узкая дверка в проездных воротах, и, побряхтывая, на волю к гостям выступил сам воевода князь Сила Гагарин, чернявый, востроглазый, по самые обочья заросший смолевой бороною, в овчинной бекеше на одном плече. Ишь ли, какой жаркой! От его жирной груди в распах червчатой рубахи валил пар.

– Что за табор в неурочный час? Пошто не гонишь, Гуляйко?

Воевода сделал вид, что не замечает царского гонца, стоящего пред ним в шубе до пят из соболевых пупков и с соколом на руке.

– Я, царский сокольник первой статьи Елезар Иванов сын Гаврилов, попадаю в Москву с уловленной птицей. И велено мне ехать без проволочек, и на то дадена государева грамота за красными печатями.

– А с... я хотел на твою грамоту. У меня нет подвод для подорожных. Все лошади в деле, а какие и есть, так в отдыхе. Из Новгородской чети настрого заказано давать отныне подвод и кормов. – Воевода ухмыльнулся, нетерпеливо переступил сафьянными сапожонками, зная, пятки подбивал мороз; вроде бы с пира явился ставленник, и вот неразумные шатуны со своего извола тереблют князя на ветру, как куропотя.

– Да я «слово и дело» кликну на людях! На встряску отправлю!

– Меня-то на встряску? Да ты пес собачий. Вот тебе слово. – Воевода резким тычком сбил с царева слуги шапку с соболевым оком и торжествующе стоптал ее в снег. Большого позора нельзя и придумать для служивого, что поседел на государевых посылках. – А вот тебе и дело, мартышка! – И вторым ударом воевода сбил с руки сокольника парадную птицу. – Твой отец лаптем шти хлебал, а ты нос задираешь, шпынь турецкий. – Но не успел Елезар опомниться и достойно ответить. Князь Сила Гагарин с вахтою уже умахнули за пали и заложили ворота на дубовые засовы. Послышались частые шаги по внутренней промороженной лестнице сторожевой башни. Из бойницы верхнего боя донеслось угрожливо: – А будете коли сволочиться да матерно лаяться, так велю стрелять из пищалицы прямым боем, чтобы неповадно было воровать.

Потом раздался за стеною смех, скрип снега – и все разом стихло в крепостце: лишь в посаде у избы сотского надрывался бессонный пес.

А частые звезды на небе вдруг замутились, сделались меньше просяного зернышка, а после и вовсе сгреб их черт в шапку и упрятал за пазуху; заподымался сиверик от сугробов ледяными струями, пораскидывая крупяное сеево прямо в лицо. Кого тут кликать, кому жалиться? Да и вся служба государева такова: из маеты да в маету. Быстро смекнул Елезар, поднял сотского с печи, и пока тот кумекал, как лучше отбояриться от непрошенных гостей, табор уже ввалился в изобку с земляным полом, где спали домочадцы и зимовала в запечье скотина. Накидали сена на пол, устлали попонами, попритащили пахнущих морозом оленьих одеяльниц, отчего житьишко сразу выстудилось, – и дай Бог храпака. Поморяне-помытчики свычные люди, шатуны-находальники, скитающиеся по морю, навидались лиха сверх темечка, и такой ночевою их не огорошить. И скоро могучий храп запотряхивал домишко, норюва унести прочь и потолок, и подволоку, и крышу с деревянной дымницей и гулящим котом на охлупне...

Но царев слуга скверно спал, строил всякие козни воеводе, и какой только лютой отместки не пришло на ум Елезару в долгой северной ночи, когда и лежать-то устанешь, бока намнешь. Едва развиднелось, он уже растолкал служивых, велел наскоро подыматься и собираться в дорогу. Случайный спутник, лядащий чернечишко, в чем и душа только тлеет, до

третьих петухов высидел под образами, шепча молитвы при свете елейницы; лишь забелело оконце, он вышел крадучись на двор; следом, опасаясь воровских затей, слез с печи сотский, а за ним сокольник поспешил на заулочок. Елезар нашел чернца за возами; тот стоял, поворачиваясь лицом к востоку с умиленной улыбкой, и пел стихиры, дожидаясь восхода солнца. И сказал Елезар нечаянному спопутчику:

– Придется тебя, монах, сдать воеводе. Ярыг без пошлины возить не велено. Иль гони четыре алтына и две деньги. Пойдешь виниться?..

– Не рой, господин, ямку. Сам упадешь.

– Я и говорю, пойдешь ко князюшке и поклонись низким поклоном, покажешь свою грамотку. А после уж я с ним совет поведу. – С нехорошей улыбкою, раскосясь сереньким взглядом, уставился сокольник на чернца и вдруг резко хлопнул его по узкому плечу. – Не в бега ли собрался? Кошулю-то вздел, старик. Я тебя скрозь зрю. С того и бумагу не требовал. Это не по твою ли голову рыщут всюду патриаршьи стрельцы?

Старик засмеялся открыто:

– Уж больно дорого ее ценишь. Ее то дело и стало, что колпак носить.

– Отправляйся, а малой Любимко тебя спроводит. Больно горяч, пусть охолонет.

Елезар уединился со стрелецким десятником. Уговорились брать лошадей силой, если воевода не сменит гнев на милость.

– Не было бы худа, Елезар? Не только живота лишат, но и угонят в Сибирю. За князем сила.

– За князем сила, а за мною правда, – настойчиво возразил сокольник. – Он государеву птицу сбил с руки и шапку мою стоптал. Я в трусах не хаживал, ты меня знаешь. Хуже нет, когда честь твою срывают. Закоим и жить тогда, лучше помереть от стыда. Иль калека я, чтоб за себя не постоять? Ты не робей, Пересвет. Бог не выдаст, свинья не съест; иль мы не мужиками родились, иль зря штаны носим? Да и, может, добром все обойдется...

Стрелецкий десятник молчал, прикидывал умишком, во что обернется затея; с другой стороны, ежели воевода заерестится, пойдет наперекор (что за муха его укусила?), то дальше пути нет, не зимовать же тут? Слова Елезаровы он мимо ушей пропускал по ветру, зная, что своими речами сокольник сам себя крепит. Наконец столковались друг друга держаться, а рядовых подводчиков пока оставили в неведении: дальше дело покажет.

Срядили обоз, подъехали к острожку, за ночь навьюжило, намело по дороге сувоев: без свежих лошадей нет поклажи. Воевода уже был на стене, закричал:

– Ты пошто, старый черт, ярыжек беспощинно возишь? И в тот раз, и в энтот! Государеву казну огрызаешь, как мыша сухарь!.. – Нет, не смилоствовался за ночь Сила Гагарин и снова крепко обидел Елезара: зная, какие-то свои планы плановал, свои затеи тешил на сердце. Иль великой мзды хотел? Кормление сиротское, много ли живота скопишь, так с проезжих хоть какой рубль содрать на прокорм семье. Так, видно, помышлял воевода?

– Зачем на меня лаешь? – Сокольник задрал голову, сбил на затылок стеганую шапку с соболиным оком. – Я что, тебе пятки отбил иль дорогу обсек? Ты не меня топчешь, а самого государя честь роняешь. Сила Гагарин, уймись! Вон и ямщики не спамши и не жрамши, а им назад вертаться. Чего удумал? Пожалей людишек, воевода!

– Последнее мое слово! Оставьте вора, а сами, не мешкая, проваливайте. Нету вам корму и подвод. Сами едва ноги волочим. Наедут, ишь ли, прискочат, как татарове из Крыма, последнее им изо рта вырви да подай. Не послушаетесь, стрелять прикажу!

– Бог тебе судия! Птицу сгубишь, не видать тебе вовек головы! – прощально пригрозил Елезар и поворотил к возам; поглубже натянул башлык, застегнул под бородою верхние нашивки походного кафтана и, будто бы торопясь, полез на коня, наискивая ногою стремя. Конь заходил кругами. Мужики же возроптали, зауросили у возов, скучковались, и как бывает во время всякого труса, сразу сыскался головщик и заводчик, что принялся под-

жигать, подначивать сокольников и стрельцов: де, вы соромите себя и род свой позорите, де, расскочился, надулся пузырь на грязной луже, а вы уж и в штаны напрудили, де, поучить его надо, робятки, де, неученой человек хуже дворового медведя, ему палец в рот, а он и руку отгрызет. Елезар призамедлился, будто бы застрял ногою в стремях, и, не поворачивая головы к обозникам, слушал их горячку и как бы еще пуще поджигал их норы своей нерешительностью.

– Не пойдем дальше, – кипели подводчики. – Нас дома ждут. Сулились вчера вернуться. Ему-то што! Наел шею, ишь, от сала лопается, кнурише. Всех баб обворовал. Батько-о, ты-то чего? Государев слуга... Запустим борову шило под кожу...

Елезар, не отвечая, отошел за везы, созвал втихую стрелецкого десятника и Любимку:

– Ты баял, парень, что сгодишься мне. Государь тебя без милости не оставит. И я не позабуду твоих услуг. Господь нам свидетель... Так слушай. Тебя помытчики высоко ставят: де, второй такой силы нет на Руси. Вот и выкажи нам силу, но чтоб не до смертного убийства. Упаси Бог лишить кого жизни. Тут за тебя не постою. Сейчас, как поведешь монаха в острог, замешкайся в двери, чтоб нам войти. Потолкайся, салазки загни, чтоб искры из глаз, но шибко не машишь, рукастый. Ты понял?

Любимко кивнул головою, не удивился просьбе. В жизнь свою он не чаял страха, хоть и близко видел смерть, и всякие кулачки грудь в грудь были ему в потеху, на игрище...

«Ты не трусь, отче. Я тебя не выдам», – шепнул Любимко и, прихватив инока Зинова за ворот, грубовато подтолкнул его к башне. «Я веком не трушивал. Мне пострадать-то в радость», – ответил старичонко, и взгляд его загорелся. Сзади вскричал Елезар: «Воевода, примай бегуна. У него грамотка от соловецкого игумена». В дверке отодвинулась лубяная волоочильная доска, в проруб уставились зоркие щупающие глаза воротника: увиделось ему щекастое круглое лицо деревенского парня, мягко опушенное кудрявой шерстью, и изможденный, какой-то поиспытанный хворью монашеский лик. «Не экого же пропадину на заставах имеют? – удивился стрелец. – Такой разве что из могилки сбежал, сколь лядаший». Но открывать не заторопился: волоковое оконце задвинули, за воротами установилась короткая тишина, только слышно было, как похрустывал под ногами снег да с натугою, с горловым бульканьем прерывисто дышал возле инок. В Любимкиной груди стеснилось от нетерпения, зажгло под душою.

Он не ведал пока, что его поджидает за стеною, не знал, как себя повести, но от близкого боя зачесались кулаки; он снял меховые рукавки и заткнул за кушак, овчинный треух присбил на затылок, чтобы зорче видеть. Ему вдруг стало жарко. Наконец, с осторожной стены велели впустить ярыгу: дверь в башенных воротах приотдалась со скрипом, сначала робко, а потом смелее, нараспах. Да и кого тут стеречься? Любимко подтолкнул Зинова, беглым взглядом захватывая все пристенное пространство с поленницами дров, с высокими снежными забоями, со съезжей избою в глубине и многими воеводскими службами, и с ямским двором справа, где у коновязи топтались закуржавевшие кони. Лишь два бородатых стрельца в червчатых кафтанах дожидались в притворе. Любимко зачем-то обернулся назад, вроде бы за ободрением и поддержкою, но длинный обоз показался странно далеким, а столпившиеся у крайних саней земляки – совсем чужими и равнодушными.

Стрелец потянул инока за рукав сермяги, Зинов заупирался вдруг, с мольбою оглянулся на парня; Любимко поймал затравленный взгляд и очнулся, заполнил собою узкий вход, над головою низкорослого инока ткнул стрельца без замаха в скулу, срубил его под ноги, пустил юшку, и натоптанный снег пред воротами сразу бруснично заалел, покатались кровавые ягоды, прихваченные морозом. На голубом снегу они показались багровыми и веселыми. Пока-то второй стрелец соображал, собираясь звать подмогу, и замахнулся чеканом, но Любимко подножкой ссек воротника, как перестоялую будылину, без усилия заломил за спину руку: стрелец истошно взвыл, и Любимко услышал, как хрустнула в плече, а после

тряпошно обвисла рука, будто сняли мужика с крутой палаческой встряски. Любимко опомнился от дикого крика, но не зажалел стрельца, а как бы остыл вдруг и стал зорче.

С верхней площадки боевой башни по кривой деревянной лестнице, по мороженым скрипучим ступеням уже горохом сыпались шаги: первым выскочил воевода с винтованным карабином, нацелился в Любимку. И чего не ожидал парень, инок Зинов выбежал пред его, заслонил тщедушной грудью и, отрывая путвицы с сермяжного ветхого понитка, воззвал: «Стреляй по мне, воевода! Не робей! Пищали и пушки меня неймут!» Сила Гагарин выцелил неслухов, но рука, зная, дрогнула, и он пальнул поверх гилевщиков: еще думалось ему, что только заснилось сие, все случившееся неправда и стоит на миг замгнуть глаза и вновь распахнуть, и ничего худого не найдешь пред собою.

Воевода замедлился, хватаясь за саблю, и тем попрдержал стрельцов в дверях башни, не дал ходу. А тем временем уже вбежали подводчики с секирами и помытчики с рогатицами, но все без пищалей, чтобы огневым боем не учинить дурна. Петля меж полениц дров, Сила Гагарин ускочил в съезжую избу. Ратовищами секир впилили, затолкали осажденных обратно в башню и заперли дверь на засовы. От съезжей избы уже спешила в помощь воеводе заспавшаяся ночная вахта и вплотную сошлась с помытчиками и тут же отступила пред неожиданной силой, оставив на снегу троих поверженных: одному испробила вольница голову, другому изъязвили лицо, третьему испроломии ребра. Особливо лихие подскочили под окна съезжей избы, где занял оборону Сила Гагарин, и принялись яриться: «Воевода, выходи вон! Выходи вон, болотный князь! Мы твоё мясо станем резать и есть сырое, и разговеемся еще до Паски». А распалившийся Зинов, помахивая вересовой ключкой, подбодрял, не утишая голоса: «Так его, детки мои! Бог благословляет вас: режьте да ешьте». И так выпутали мезенские помытчики служивых, что дьяк с подьячими спрятались в темном чулане за ларями, а воевода из повалуши и с повети вместе с тремя сыновьями принялись палить из пищалей; но как скоро поняли, что сполошники не пойдут приступом и угрозы особой нет, то унялись и прекратили стрельбу.

А то и надо было Елезару, государеву спосыланному: от коновязей увели лучших коней, да погрузили на возы несколько рогозных кулей с овсом, да кто побойчее вытянули у кабацкого выжиги под страхом смерти десять четвертей горячего вина, да с тем и кончилось это приключение...

Через две недели Божьим изволом оказались в Москве. Под Коломной инок Зинов вдруг соскочил с розвальней, как бы по нужде, и пропал в частом елушнике. Хвать-похвать, но источился человек, яко дым. Любимко лишь руками развел сокрушенно; и еще долго жалел он, что так внезапно разминул с соловецким монахом. Ведать бы Любимке, что это был казанский протопоп Иоанн Неронов, за головой которого по всему северу охотились патриаршьи стрельцы.

Сердце Елезара Гаврилова еще долго томилось от дурных предчувствий. Ждал-пождал он грозы, но она обошла стороною самовольника. И поставил сокольник в церкви Николы-путеводителя благодарную свешу, что оградил его русский святой от сыска, многой неправды и от бесчестия.

Глава третья

Не удержали Неронова цепи, и десятого августа пятьдесят пятого года бежал он из Кандалакшского монастыря, из дикой Лопской земли, почитай что из самых аидовых теснин, вместе с двумя работниками. На поморской шняке с промышленниками попал он в Соловецкую обитель к ревнителям веры под крыло архимандрита Илии, а поживши на островах, снабженный всем потребным в дороге, зимним морем отбыл на богомольной ладье в Яренгу, а оттуда с обозом наваги съехал в Архангельский город. В Ненокотском посаде пред острожком он сошел вроде бы по делу, а сам скрылся: двое его работников были взяты сторожей в Холмогорах и заключены в темничку. Лишь кротостью и твердым духом перемог Иоанн дорожное лихо, а пред Москвою, по обыкновению, сбежал с обоза помытчиков и сразу отправился к царскому духовнику Стефану Вонифатьеву, с коим имел запретные ссылки через стрельцов во весь год затвора. Неронов много дней тайно жил в келеице у Благовещенья вместе с Вонифатьевым.

Духовник открылся государю, и Алексей Михайлович не только не угрожал на беглеца, но и скрыл несчастного, твердого верою протопопа от собинного друга, освободил в Холмогорах двух пойманных работников Неронова, да и закрыл глаза на челобитье князя Силы Гагарина. Патриаршьи верные стрельцы метались по Поморью, сыскивая хульного беглого протопопа, а он тем временем в Китай-городе под боком у Никона вел досужие долгие разговоры, иссякая духом в жаркой скрытне за стенами Дворца, и не мог найти укрепы в сомнениях; и противу любимого государя страшно было, да и кощунно ратиться, затеивать лаянье и неправды на него, тишайшего Божьего сына; но и никак не мог приклепать худым умишком своим бывшего волдемановского мужика Никитку Минича к свет-государю. «Ишь вот, – горячился Неронов, – приклеились два-оба, будто рыбьим клеем – и не разнять: не иначе тут навадники, бесовы шептуны потешились над свет-царем».

«Ежли Русь великая, во что я истинно верую, то на кого нам озираться, пред кем виниться? – вопрошал Неронов. – Что за оказия напала, такая хворь, чтоб пятиться нам иль вставать на перстишки по-собачьи, вилять хвостом? А ежли заоглядывались бесперечь и сами себя стыдимся, и норовим подпасть под немецкий обычай, то что в нас великого, Стефаний? Никак не вяжется лапоть с голенищем; так нам сапоги не стачать и обувки доброй по ноге не нашивать. Ежли почал сам себя клясти да под чужой колпак примериваться, тут ложись и помирай, право слово; а недруг наш лишь того и ждет, чтоб мы сами себя излаiali и луторский хвост облизали. Псы мы неразумные, коли со своего двора радостно побежали за фрыгой, только покликнул он нас. И ты, Стефан, видит Бог, тому потворщик и сластолюбца Никона на левую ногу наставил...»

Лаялся Неронов, а царев духовник лишь кротко улыбался изумрудными глазами, и сквозь ковыль снежной бороды ответные слова истекали устало, бесплотно, но были живые, теплые, как полуденный июльский, едва колышащий аер:

«Вот про то и молвлю, братец... Ежли мы великие, как хочется верить, то чего нам пугаться? А раз некого бояться, слон же не боится мыша, то и надо разлиться верою и всех принять и позвать с миром: идите, христовенькие, под наш венец! То и будет истинный третий Рим. А мы сховались, заугольники, в своей хижке, сидючи в рамках, приткнулись за тын, да оттуда и лаем с испугу: де, мы третий Рим! А и никто, братец ты мой, нас и не слышит».

«Слышит, кто хочет, ибо кто имеет уши, да слышит. Слышать, вот, не хотят, а глухим Божье слово невдомек...»

«Нет и нет, братец. Мы вознепщевали на весь белый свет, де, выше нас нет. А коли выше нас нет, то и должны притечь к ославленным и осиротенным, кого ошавил басурманин и еретик, и всех ублажить, не жалея животов своих. Иначе латинник одолеет Русь. Он, как

жук древоточец, пилит норы в русском древе и в стулцах, подпирающих православный храм. Вы и не заметите от спеси, что станут стулцы, как решето, и вдруг сокрушится церква и погребет вас в своей клети. А Господь лишь руками разведет сокрушенно: дурни, ой и дурни-и. Ревность в тебе горит, Иоанн, а не правда: завидуешь, батенько, что царь Никона выделил из протчих, а не тебя. Учит Марк-евангелист: ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека...»

«Аль забыл, праведник? Ядый хлеба во всякий день, помни: не едим хлеба горячего и гораздо мягкого, да пусть переночует... И не всякое слово входящее – добрый знак. Иное слово хуже головни и спорыньи и, вспрыгнув в душу, вгонит ее в пагубу, и ну катать да мучить. Ведомо, ты и долгое выставишь за круглое. Посеял ты с Никоном ветер, и батюшку-государя ввел в смуту. Я писал даве Алексеюшке: де, очнись, свет-царь, роют под тебя сатанайловы дети, ино рожать тебе вскоре бесов. Открылось мне: не успеет дважды лето обернуться, побежит Никон-затейщик прочь из Москвы, никем не гоним, яко заяц. И слава Богу, не доведется видеть тебе той позоры, что сам и измыслил».

Не возразил царский духовник, но склонил голову, понял жесткий намек упрямого протопопа, но ничто в душе его не восстало, не возмутилось, ибо ждал Стефан Вонифатьевич смерти со дня на день.

Так и шли пререковы меж протопопами во всяк вечер, а меж тем гонцы патриаршьи рыскали по Иоаннову следу. И случилось Неронову видение в ночи, будто звезда Вифлеемская над ним зажглася. И сошел голос от той звезды: «Доколе тебе шататься, Иоанн? Ступай в монаси и тем поразишь супостата».

И по отписке Стефания архимандрит Тихон постриг Иоанна Неронова и нарек Григорием. И еще сорок дней скрывался инок Григорий в келье царского духовника, что у государя в сенях, а весною тайно удалился на житье в Спасо-Ломовскую пустынь, где почили на погосте его родители. И лишь в ту пору дознался патриарх, куда скрылся его супротивник, и отправил в догон боярских детей, чтобы полонить непокорника; но инок спешно удалился в соседнюю весь Теляпшино, и крестьяне скрыли прозорливца от нарочной команды.

Тогда Никон созвал собор и осудил Неронова заочно. И собор отсек Иоанна Неронова, бывшего казанского протопопа, от церкви и изрек анафему. И по воле Никона и наезжего антиохийского патриарха Макария пропел весь освященный собор: да будет проклят!

И проклинали духовидца и неистового ревнителя Иоанна Неронова мая в 18 день 1656 года.

В лесном засторонке, вдали от московских страстей, в одинокой келеице наедине с собою скоро затосковал инок Григорий. Он вроде бы с желанием отсек себя от мира, уединился в затворе, но душою утихнуть не мог. Он заблажил, что-то стронулось в сердце, и монах вдруг почувствовал себя в теляпшинской скрытне таким покинутым и одиноким, и отлученным, заживо похороненным, что все прежние вроде бы важные пререковы, за кои страдал уже четвертый год, показались иноку напрасными. С этим новым чувством он однажды прочел недавно изданную Никоном «Скрижаль». А в ней уведомлялось со всей строгостью, что креститься должно тремя персты, что о том писали Никону все четыре восточных патриарха, а непокорных предали клятве. И Григорий, укоряя себя за прошлую гордыню, всяко ослабел и стал сокрушенно размышлять: «Кто я, окаянный? Не хочу творить раздора со вселенскими патриархами, не буду им противен: ради чего быть мне у них под клятвою?» И вдруг с душевной легкостью предал инок отеческий обычай, не дрогнув сердцем, ибо открылась ему в уединении вся правда. Он как бы в затмение впал, и позабылось иноку, что крестились двуперстием все русские святители и святые, и великие князи, и государи, и весь православный люд, почитай, от начала древнего веку: и изменить знамению, переменить на дьявольскую щепоть – это как бы добровольно отворить дорогу бесам, рас-

пахнуть ворота нечистой силе, что неустанно пасет христианскую душу за оградой, ищет самой малой щелки, куда бы можно проскользнуть и со лъстивыми повадками для начала хотя бы улечься под порогом, дожидаясь своего победного часа.

Что есть Никон? – он не звезда на небосклоне, и не ладейный фонарь в житейском море, и не лампадный живой огонек, и даже не крохотный свечной огарыш, но всего лишь березовый оскепок, что вспыхнул по прихоти государя и вскоре осыплется прахом. Так позволено ли ему, Иоанну Неронову, творить препоны любимому Алексеюшке свет Михайловичу и всей церкви, и самому Паисию Иерусалимскому, вселенскому патриарху, досаждать, ронять сего достойного мужа в печали и скорби своим немислием.

А тут еще пришло известие в пустынь, что друг сердешный Стефан Вонифатьевич скончался. Невдолге перед смертью на деньги сына духовного соорудил Стефан в Москве на убогих домах, где было кладбище для бедняков, убогоньких, странников, умерших насильственной смертью, замерзших и других несчастных, особый монастырь, названный Покровским, в котором и был пострижен в пятьдесят шестом году под именем Савватия. Той же осенью он и преставился, и был похоронен в том монастыре. Получив печальную вестку, инок Григорий сразу засобирался, стал умолять духовную братию, чтобы отвезли его в Москву ко гробу друга своего поплакать на могилке и исполнить последнюю волю покойного, чтоб непременно помирились лютые недруги в долгом споре своем, ибо Русь стояла за их плечами на распутье. Близкие в Москве отговаривали Неронова от встречи с Никоном, на что бывший опальный протопоп заявил: «Иду, смотрите! И благодать Божия со мною. Вашей ради пользы не прикоснется зло. И презритель родной старины скоро упадет в бездну. Но и последнему заблудшему протяни соломинку – и спасется...»

...И забывши прежние клятвы пред сподвижниками, пребывающими ныне в Сибирях в туге и нуже, с чувством вины прибыл инок Григорий в Москву, явился на патриарший двор, встал у Крестовой палаты и поклонился Никону, когда тот с Золотого крыльца спускался к Божественной литургии. Никон спросил у сухонького чернца, смиренно заступившего, вроде бы невзначай, дорогу: «Что ты за старец?» Инок поднял взгляд, но Никон никак не выказал своего изумления. «Я тот, кого ты приказал искать повсюду, и многих, меня ради, муками обложил и с детьми разлучил, и рыдати и плакать устроил...»

Инок дерзостно опередил патриарха и, пристально глядя снизу вверх в утомленное лицо Никона, прижатенное собольей шляпою и высоким бобровым воротником шубы, вдруг позабыл, что прибыл виниться: он невольно возвысил голос до крика, ознобно дрожа лишь от одного вида первосвященителя, такое, оказывается, носил в себе отвращение: «Что ты ни затеваешь, святитель, то дело вовсе пропащее. Ты церковь православную превратил в хлевище, нагнав туда еретической скотины. Ты книги святые всяко выблудил, шатаясь по догматам отцев наших. Но скоро по тебе будет иной патриарх, и все твоё дело переделывать станет. Иная тогда тебе будет честь, и всяк плевать станет в твой след».

Никон, не ответив, вступил в церковь, а инок остался на пороге, не смея, отлученный, войти даже в притвор, и стал дожидаться патриарха на морозе.

По окончании литургии патриарх велел Григорию идти за собою в Крестовую, а инок продолжал досадить Никону, прилюдно всяко кляня его: «И се азъ есмь пред тобою, что хочещи творити о мне! Не от смерти спасатися явился к тебе и не из страха лишь, убоясь казни. Я ничего не боюсь и заступился за овны, чтоб уберечь от тебя, овчеобразного волка! Я вселенским патриархам не противлюсь, но не покоряюсь тебе одному. Ты все новины измыслил по гордыне своей, затворясь в палатке, ни от кого из добрых людей не взяв совета. И нашептали ту дурнину черные люди с черного света... Ты ослабил меня, как напечатано в книге „Скрижали“, ко вселенским патриархам, де, мы мятеж творим и противимся тебе в вещах церковных, а патриархи те отвечали, что подобает креститься тремя песетами, не покоряющихся же заповедали предать проклятию и отлучению. Если ты с ними согласен и

их волю творишь, то и я этому не противлюсь, не хочу выступать против Отцев церкви, как упрямый онагр. Гляди, Никон, я своею охотою и согласием уступаю им со всем смирением, как подобает сыну Христову. – Инок Григорий троекратно осенил себя щепотью, крепко ударяя по плечам, вызволил из-под зимней ряски медный крест и поцеловал с умилением. – Только смотри, святитель, чтоб была истина, – протянул с неожиданной угрозой, и пепелесый, простецкий взгляд его приозарился вещим знанием, колюче прободил патриаршьё естество сквозь. – Знай, я под клятвою вселенских патриархов быть не хочу. Ты уловляешь меня своими борзыми, яко зайца, травишь, не давая сну. И что тебе за честь и отрада от моих мучений? Ныне ты всякому на Руси страшен, тобою малых детей пугают, укладывая в зыбке на ночевую. Тобою грозятся друг другу, спрашивают: не ведаете ли, кто он, зверь ли лютый, лев, или медведь, иль волк? Дивлюся: государевой власти уже не слышать, а от тебя всем страх, и твои посланники страшны всем более царевых... Кричи, кричи, Никон, чтоб хватили меня твои псы. Тащи в нети для казни».

Инок Григорий сурово, бестрепетно судил святителя, вздев перед иконостасом перст, переступывал нетерпеливо стоптанными валяными сапожонками, оставляя на плитчатом полу грязные натеки. Никон слушал со странной покорливостью, призащипав отросшими, почти старческими бровями влажные, с близкой слезой глаза. «Не могу, батюшко, терпеть», – вдруг непонятно молвил патриарх. Инок не услышал вроде бы признания иль дал ему свой смысл: бесы, вот, толкут Никона в ступе еженощно, и он, зная, не может противиться их силе и пошел на поводу; иль иная неведомая блазнь мучает, ломает и корежит христовенького? И оттого так беспомощно умилен и по-кошачьи ласков, и утишлив, и необычно терпелив Никон, не топорщит усы, не грозит узилищем, батогами и смирением, не кличет для казни боярских детей, не тянет под плети и встряску. Великий государь, не долго и правишь, а что стряслося с тобою? – с тайной усмешкой подумал инок Григорий и уже с жалостью, потупя горячий взор, принялся наставлять патриарха, словно бы пред Григорием стоял чернец самого младшего монастырского чина.

«Святитель, прежде мы от тебя многожды слышали, когда в друзьяках ходили, и ты на Верх не шатался без нужды, как в свои хоромы, когда мы живали с тобою, как персты одной руки, и крепко стояли друг за дружку, за истинную веру. Ты тогда неустанно благовестил нам, де, греки и малорусы порастеряли веру, и крепости, и добрых нравов у них давно нет. А нынче они для тебя святые люди и учителя закона. Арсений, чернец-иезуит порочный, у тебя за главного наставника, книжную справу пасет». – «Лгут на него, старец Григорий. То на него солгал из ненависти троицкий старец Арсений Суханов». – «Добро бы тебе, святитель, подражать кроткому нашему учителю Спасу Христу, а не гордостью и мучением нас держать. Смирен сердцем Христос, учитель наш, а ты очень сердит». – «Прости, старец Григорий, не могу терпеть, – повторил Никон. – Вельми слаб даже велий человек, ибо и его съедает греховная тля, а от проданной души остается одна перхоть».

Уж сколько раз унимал царя: спусти меня в монастырь, ибо восхитил я чужую власть. – Никон испытующе взглянул на чернца, и в глубине иссера-сизых глаз поселилась насмешливая искра. Де, мил человек, ты явился из бегов меня учить, не боясь отместки, а я посмотрю в твою ухоронку, где бесы гнездятся, и увижу верно, как учнут они тебя грызти. Да и то радость; сам великий государь растоптал себя, пал пред тобою в грязь; редкой чистоты человек выдержит подобную сердечную встряску, чтоб не возгордиться. – Видит Бог, Григорий, не рвался я до учительства. Нет слаже, чем быть в иночестве и служить Спасу нашему, приуготовляясь к встрече. Аль нет?» – «Так и поди прочь со стулки!» – искренно воскликнул инок и зарозовел изможденным лицом, вроде бы густо присыпанным древесной трухой. Из-под ватной скуфейки опали на плечи сальные с проседью косицы, и сквозь тусклый волос просвечивает худая морщиноватая шея, похожая на ивовый корень. Воистину ни кожи ни рожи, а вот царя-батюшку захмелил и обавил сладкими словесными медаами, проковырял

кротовью норку в самое сердце его, – невольно с завистью подумал Никон. – Вишь ли, кротовин, всю Русь изошел, а не попался; сколько доброго народу под себя поднятии, извратил, ублажил лживыми словами против церкви, да и схоронился от моих спосыланных. Вроде бы все во власти моей, а этого сморчка никакими цепями не ухранить. Никон пропустил последние слова инока, с трудом отвлекся от мыслей. Инок Григорий повторил: «Так и поди прочь со стулки, Никон. Успокой народ». – «Ушел бы, да кто спустит? Не в моей власти. – И вдруг, приосанясь, отстранился и добавил: – Уйду, наплачетесь, осыплетесь, как листья с дуба. Может, на мне и крепится церковь наша. А вы зубы об меня сточили, лиходеи. Все насупротив». – «И ты взаболь молышь? Де, ты сам Христос?» – изумился инок. «Уйду, истечете похотью, останется одна возгря и жидь, и всяк об вас оботрет ноги, как о худой вехоть. Ибо сами в себе некрепки и падки на подачи». – «Ну-ну, загарчал ворон по-скворчиному. Ну, да Господь с тобою... Повстречался и пойду прочь. Ты лучше наладь-ка мне житье на Москве. Негоже бывшему казанскому протопопу шляться по Москве, как последнему прошаку», – сурово оборвал разговор инок. И снова стерпел патриарх неуважительного гостя, будто что сломалось у него внутри. Будто не он томил, а его садили в юзы. И сказал Никон тихо, странно заискивая: «Поезжай, инок Григорий, в монастырь Покровский, что на убогих домех, и объяви, чтоб очистили для тебя келью и чтоб всякого брашна и питий дали, чего схочешь. Лишь не заступай мне дороги в великом деле и не твори из меня циклопа, не возмущай противу меня мятежей. Поплачь, умягчи, зачерствевшую душу на гробе друга своего». – «Далече, святитель, попадать мне туда, – грубо отказался инок. – Мне бы где поближе. Я человек древний, бродить далеко не могу. Изволь пожаловать на Троицком подворье побыть». – «Ино, де, добро», – устало согласился Никон.

...Вроде бы главного своего супротивника заставил смалодушествовать, переманил на свою сторону. Пришло время торжествовать победу, а не случилось на сердце радости. Горькое недоумение не покидало: за что, по какому розмыслу и наущению роет государь противу собинного друга тайные подкопы? Редким гостем стал в патриаршьей Крестовой палате и к исповеди нечастый ходок. Вот и беглого протопопа, отлученного от церкви еретика, сокрыл у себя во Дворце. И неуж он, Никон, воистину один на бранном поле за истинную русийскую церкву?

Вскоре возвратился из похода против шведов государь, и когда соборные власти проводжали его во Дворец со службы, пался на глаза царю старец Григорий, что стоял возле успенских нищих. Увидев любимого златоуста, царь весело сказал Никону: «Благослови его рукою». На что патриарх властно заметил: «Изволь, государь, помолчать. Еще не было разрешительной молитвы». – «Да чего ж ты ждешь?» – спросил государь и, не дожидаясь ответа, прошел в палаты.

В следующее воскресенье за литургией Никон приказал ключарю ввести в соборную церковь старца Григория и спросил его: «Старец Григорий, приобщаешься ли святой соборной и апостольской церкви?» На что инок возразил: «Не знаю, что ты говоришь. Я никогда не был отлучен от церкви, и собора на меня никакого не было. Ты положил на меня клятву своею дерзостью, по своей страсти, гневаясь на меня, как проклял и черниговского протопопа Михаила и скуфью с него снял за то, что он в книге Кирилловой не делом положил, что христианам мучения не будет».

И Никон, не отвечая, горько заплакал над нераскаившимся строптивцем и начал читать разрешительные молитвы. Тут и Григория вдруг пронзило, и он пролился слезами, кляня себя за дерзости и гордыню, пока снимали с него клятву и когда причащался святых даров из руки Никона. И он искренне зажалел о долгой бесполезной распре, плевелы коей уже стали прорасти на окраинах земли Русской.

В тот же день устроил патриарх за радость мира трапезу в Крестовой палате и посадил старца Григория выше всех московских протопопов, отдал ему особую честь как человеку

редких достоинств. А после брашна и питий одарил старца подарками и вернул все письма, что рассылал прежде Иоанн Неронов к царю, Стефану Вонифатьевичу и прочим братьям, и примолвил на прощанье: «Поди с миром, старец, и сеяй радость духовную...»

Часть третья

Глава первая

Есть ли что вольнее, любезней охотничьей птицы, когда она, опираясь крылами на плотные воздуха, воспаряет как бы к самому Господнему престолу, и только острый взгляд ловчего и сокольника может наискать это маковое зернышко в небесных голубых проталинах среди белоснежных весенних ворохов; соколы с ангелами рядом живут, они Господа зрят, а может, и служат у Него на посылках, и падая с горних сияющих вершин назад к земле, несут Его благословление ко всем грешникам, что колотятся в наказание в бесконечных трудах. И как тут не позавидовать гордой птице, что с ангелом вровень.

Ангел недоступен даже православному смиренному взгляду, сливаясь с прозрачной небесной водицей; лишь порою серебристая пыль на покатых неба дрожащей мгновенной полосой выдает его след к земле за отлетающей душой праведника; а кто бы и увидел ангела вьвяе, тот бы и ослеп сразу от красоты. И вольной птице, что у ангела в пособлении, что у Господа на посылках, негоже быть в затрапезном одеянии, ютиться на своей колоде в кречатне, как нищему прошаку в притворе сельской церкви. Государь наш до Бога приимчив, поклончив и утрашлив, он всечасно всякого монаха, иль соборного служку, иль отца духовного просит молить у Господа за здравие и отпущение грехов; оттого и кречетов велит уряжать со тщанием и роскошью. И ежели для обыкновенных охот у ловчей птицы полевой наряд из добрых, но простых материй, то для сердечной радости, для похваления и умаления собственной гордости украшивает Алексей Михайлович птицу в шелка и бархаты, осыпает жемчугами и драгоценными камнями, не прижаливая всяческой дороговизны из своей казны...

Вчера царев поезд прибыл в Коломенский дворец, завтра первый выход на весеннюю охоту. Нынче же в передней избе Сокольничьего пути поджидают государя: на лавку кинут ковер диковатый да сголовье полосатое бархатное, а пух в нем из диких уток, против царева места поставлены четыре стула нарядных, а меж стулов втолстую настлано сена, покрытого попоной. Любимко принят кормленщиком на птичий двор за Елезаровой просьбою. Но ему в переднюю избу нет ходу, он украдкой подглядывает в окресток раздернутого волокового окна, как первой статьи сокольник Парфентий Яковлев сын Табалин готовит для показа Любимкиного белого кречета. Стол накрыт ковровой скатертью, и разложена на нем птичья страпня, сверкающая золотом.

Кречатня за высокими дубовыми палями, въезжие ворота постоянно на засовах, возле – стрелецкая неусыпная вахта: это царев дорогой мир, его единственная сердечная утеха и прибежище, куда доступ для людей прочих редок. Да и что им тут особо смотреть? Жилые избы, поварня, дворы скотские и всякие иные службы для складского хранения; под особым же призором длинное сушило с чуланчиками для птиц, да голубиное житье у дальней стены, откуда соколам несут живую еству. Нынче на Коломенской кречатне особенно пристрастная охрана. С зимы обещалась дурная болезнь, и Алексей Михайлович, волнуясь за целостность красной охоты и здоровье служивых, наказывал подсокольничьему Петру Семеновичу Хомякову, чтоб тот запасов всяких свежих наготовил загодя из здоровых мест, а для вящего опасения приискал место или два в лесу, где б близко вода, и те места осек. И Любимко с дворовой подначальной службою, с ловчими и псарями, и дворцовыми топорниками по коломенским лесам и под Покровским, и под Туфиловом ходили с думным дворянином Хомяковым, и в борах лес валили, и делали засеки, и избы новые рубили, и огорожу городили, и дозорные вышки вязали, и на высоких местах погребов копали, и ледники наби-

вали последним, уже сопревшим льдом и уталкивали натуго снегом, и резали скот, и в один месяц управились. Но все, слава Богу, обошлось.

На дворе лужи, серенькое небо глядится, ветер-летник морщит воду меж гривок жирной грязи, в завитерьях уже трава наклюнулась, а на берегах грачи развернули свою шумную домовую стройку, ратятся меж собою за добрый отвилочек и хворостяную прошлогоднюю шапку. Грустно и странно Любимке. Так рвался к Олисане и вдруг с охотою спровадил назад родных печищан, как бы обманул их в последнюю минуту, поманился на посулы Елезара и вступил в цареву службу с жалованьем в четыре рубля годовых за клятвою и крестным целованием. Незнаемо, что толковал сокольник Елезар Афанасию Матюшкину, но только ловчий оказался неожиданно благосклонным к молодому парню, сделал уступку и похерил досюльный обычай, ибо в птичьих охотники брали лишь по родове и наследству. Да еще и обещал Матюшкин за белого кречета государеву милость.

А сейчас вот все ждали государя, а больше того Любимко, и сердце у парня часто упало, зажимало дух. Каков нынче государь? с милостью иль грозою? Может и вон выпроводить, ежели не в духе: повелит, де, ступай-ко, холопишко, прочь, откуда ветром надуло. С год, почитай, не был в престольной, стоял под Ригой, но и из дальних мест не позабывал потешников, слал Афанасию Матюшкину деловые грамотки, даже в боях, за городскими бронями неотступно помня охотничий регул: «... А будет вам помнитца, что засидятся птицы, иль позабудут добычу, и вам бы Адара и иных, которые поспевают кречеты, пускать в субботу вечером на однова коршака; а будет вам помыслитца, что запускать от субботы в субботу, и тебе б подумать с Васильем и Петром Хомяковым. Как приговорите, так и сделайте: пускать ли до меня иль не пускать, а мне вам указать для того нельзя, ибо долго к вам не буду из походу: теперь кладуся на вас во всем, как лучше, так и делайте. А будет вашим небрежением Адар, или Мурат, или Булат, или Стреляй, или Лихач, или Салтан умрут, или утекут, и вы меня не встречайте. – А в конце письма приписал государь, желая умягчить суровый тон: – Брат, как тебя здесь не стало, то меня и хлебом с закалою накормить некому. Будь здоров...»

Любит Алексей Михайлович, чтоб хлеб с исподу был не пропечен, отдавал сырым тестом, и лишь ловчему Матюшкину удавался такой походный каравашек.

Испереживались охотники, все эти дни готовя птицу к первому полю. Всяк хотел угодить Отцу, потрафить счастливым промыслом в коломенских ухажьях. Случалось же, что кречет, добыв утицу, учнет валяться с ней, рвать черева и, жадно нахватавшись горячих мясов, напившись крови, заленится вдруг и отстанет от дальнейшей потехи. Иной же сокол, своенравный и отбойчивый, взмоет в занебесье, где и острым взглядом птичьего стрелка не отыскать его, и утечет в дальние веси, и тогда в поиски приходится спроваживать во все стороны верховых сокольников и гонцов; но еще обиднее для охотничьего сердца, если при государе сокол не слезает с добычи, не может завершить ставку и смертно мякнуть жертву в зашеек.

Для того и подгадывали кречатники птицу к предстоящему полю, чтобы не осрамиться в глазах государя, доглядывали здоровье челигов, и того сокола, что погадку не скинул, не срыгнул, в поле не брали. Сильных и резвых птиц кормили водяниною и вполсыта, чтобы они не взыграли на охоте, а слабосилых кормили досыта...

Любимко не знал, что делалось на дворе; он притулился, робея, к волоковому окну и видел сейчас лишь четырех начальных сокольников, в столовых червчатых кафтанах с высокими воротами, и подсокольничьего Петра Семеновича Хомякова: был тот по чину в золотной ферязи и бархатной шапке, сдвинутой, искривя, к затылку, и зеленых сафьянных сапогах, расшитых серебряными травами. Голова у Хомякова выбрита и от черной щетины кажется синей; лицо иссмугла с реденькой, в кукишок, бороною, глаза чуть вздернутые, с голубыми крутыми белками и насмешливой коричневой искрой. На впалых висках и яблоках скул вылился пот усердия и послушания. Этакий черкас из плавней, угодивший с раз-

бою в государевы уголья, и недостает ему лишь кривого ятагана за поясом. Хомяков коротко, упруго оборачивался, так что вспухал желваками загривок, ревниво дозировал стол, застланный брусеничными дорогами, и разложенную соколюю стряпню, и начальных сокольников, слегка сомлелых от жары и долгой жданки. Близок путевой царский Дворец от кречатни, да долга к ней тропинка; и то, что государь неожиданно мог явиться в любую минуту, пригнетало и утомляло служивых. Голубая ценинная печь была жарко натоплена, так что в пазьях новой бревенчатой клетки колыбался моховой волос; в крохотное слюдяное оконце, разделенное переплетом на четвертушки, падал полуденный солнечный луч и искрящимся широким мечом разваливал чистую переднюю избу наполю, настраивал кречатников на праздник.

Медово и пряно пахло свежими опилками, сомлелой древесной плотью, и сеном, и коврами, и кафтанами, выданными из царской казны на торжественный случай, птичьим сухим лайном и кожей – всем тем, чем пахнет охотничий сряд. Рядовые сокольники и поддатни дожидались царя на сушине, возле птичьих чуланчиков, готовые исполнить волю подсокольничьего; они выросли возле двора, по семейному преданию и по наследству во всем корне знали досюльный обычай и богатый степенный чин, и приход государя на кречатню был им за обыденку, за свычную службу, за рядовое дело, из коего вытекало мудрое житейское правило: чем меньше знаешь, тем дольше проживешь. А этому увальню, этому северному отелепышу, что чудом вдруг проник в Потешный двор, втерся в цареву службу, надобно приобсмотреться и наполучать тумачов да батогов, чтобы с годами выпестовался из него истинный служивый. Вот почему Любимко дожидался царя в сенях, жадно прикинувшись к продуху, и никто не теснился возле, не гнал прочь.

Прямо его в избе сутулился Парфентий Табалин, искривясь левым плечом и часто однобоко припадая. Седые изжелта косицы волос неряшливо, по-стариковски падали на высокий ворот кафтана, обшитый шелковым голубым позументом. У старого охотника мозжель к перемене погоды кости, но он крепился, чтоб не выдать немощи своей государю, не печалить его. Парфентий был давно вдов, одинок, бездетен, в тверском поместье кособочилось неоприюченное житишко. Никто не дожидался Парфентия дома, и он дослуживал жизнь, тянул лямку до смерти. К широкому поясному ремню из лосиной кожи были приторочены яркие крылья, украшенные цветными шелковыми лентами, но эти крылья, опадая по взгорбку спины, не выпрямляли Парфентия в его охотничьей гордости, не красили начального сокольника, но делали унылым и жалким, как бывает неприглядно-тоскливой старая ловчая птица, доживающая свой век на сушине лишь по прихоти хозяина. И Любимко искренне зажалел Парфентия, как пожалел бы стареющего батьку. Лишь бревенчатая стена мешала ему из сеней приобнять ловчего; он собрался даже окликнуть Парфентия, но тут увидел, как по кромке широкого поясного ремня несуетно, с раздумьями ползет божья тварь в алом зипунишке с черными горошинами. И парень, прыснув в кулак, дурачась, тихонько загугнил: «Божья коровка, вылети на небо, там твои детки...»

Вдруг спина начального сокольника дернулась, воспрянула вся его присогнутая болезненная фигура, и бархатный колпак лихо присвалился на правое ухо, а десница в широкой с раструбом кожаной рукавице уперлась в бок. И тут Любимко запоздало увидал государя. Он как бы бесшумно выткался из ничего, из сизого марева, из затенья дальнего угла, из душеного запечья, из блекло-лазоревого небесной ширилки в распахнувшемся проеме. Алексей Михайлович явился запросто, как селянин иль простой тароватый гость, вошел с легкой одышкой один, и кто-то невидимый за его спиною беззвучно притворил тугую дверь. Царь перевел дух, на коник у порога сбросил однорядку и низко поклонился иконе Николы-путеводителя, размашисто перекрестился, сильно ударяя себя по плечам и лбу, и от елейницы, от ее голубого кроткого сиянья пошли по избе круги. И ангел небесный, с лету проломившись в оконный проем, пролил на серебряной сулейце пряные тонкие звуки, от коих не только

слезливо зашибает сердце, но и в глухую зиму на снежной лесовой поляне прорастает разрыв-трава.

Государь был приземист, плотен и плечист, в бархатной шляпе, обложенной соболями, с тяжелой темной копной волос, опадающих по плечам суконного темно-синего зипуна. Любимко во все глаза уставился на Родименького. Он был вовсе иным, истинным Отцом, не таким, как вчера, когда Коломенское встречало торжественный выезд государя, весь праздничный ратный строй, что струился по дороге на добрую версту, и в середке сияющей цветной колыбающейся змеи, как в прозрачном достакане, увидел Любимко государя в аглицкой карете, запряженной шестериком темно-карих возников с крашеным немецким перьем в начелках. Против государя сидел боярин Морозов, по правую сторону у дверцы – князь Трубецкой, по левую – князь Одоевский, и, зажатый среди первых людей, Алексей Михайлович походил на повапленную идолову куклу, убранную в лисьи меха; за горлатными шапками царевых ближних иногда показывалось бледное и блеклое задумчивое, какое-то мрелое лицо с набеленными вроде бы щеками и насурмленными широкими бровями, с нелепо выстриженной бородою, уложенной на золотые кружева. И хоть перед тем долго гатили, умащивали дорогу дворцовые крестьяне ближних сел, но весенняя распута, постоянная небесная мокрядь и выбраживающая, как жилое тесто, земля свели все труды в напраслину; аглицкая карета качалась всеми колесами, переваливалась в просовах и выбоях, колыбалась на ремнях, как в толчее морского сулоя, – вслед за сотнями конных стрельцов и рейтар, и жильцов, и детей боярских, и стряпчих, уже растоптавших, измесивших путь до жидкой хлюпающей каши.

В Коломенском ударили колокола, и народ пал ниц по обочинам дороги на кислую травяную ветошь, проваливаясь коленями в мышинные пролазы и кротовины. И Любимко повалялся, путаясь в ездвом кафтане, и никак не мог совладать со строптивой бугристой молодой плотью и тугим загривком, упрямо задирающим вверх голову. И Любимке показалось, что он встретился взглядом с государевыми печальными очами, и в глазах царя мелькнуло, как таежная векша, благосклонное участие. Ну, конечно, почудилось, ибо карету со стороны тесно обжимали боярин Стрешнев, да князь Хворостинин, да князь Григорий Черкасской, да двенадцать рослых жильцов на гнедых конях. Наснилось все, конечно, наснилось, как в легком хмельном опое.

... А тут в переднюю избу вступил Хозяин, простец человек с помятым, рыхловатым лицом и с ржавчинкой в морщиноватых обочьях, с тугой каштановой бородою и с той ровной ласковостью во взоре, что всяких, даже дальних людей, вовсе чужих, делает братьевьями. Царь приблизился к своему месту, и сокольники, торопливо содравши шапки, низко ударили челом, а государь ответил легким благословляющим поклоном, каждого служивого одаряя той невидимой, незапечаленной милостью, от коей становится куда легче доживать. Хомяков отодвинулся от стола, как бы давая ходу иным чинам, что дожидались на кречатне, а государь опустил на ковер диковатый, возлег на пуховое сголовье, просунув ключку из слоновой кости промеж ног и возложив обе ладони на золоченый рог. И снова подивился Любимко из своего схорона, какой государь простец человек, слегка лениво-усталый, но благосклонный и свойский, и тайно возбужденный, ибо широко взрезанные ноздри пригорблого тонкого носа хищно вздрагивали, втягивая в себя дух любимой кречатни. Зараженный охотою человек заявился на птичий двор, и каждая знакомая мелочь была ему приятна, но всякая распустиха печалила. Год не бывал в Коломенском, и сейчас государь был пристрастно ревнив, приглядывая, как тут хозяйновали без него, и его внешняя приветливость, однако, таила близкий гнев. Это знали сокольники и сейчас вытягивались в нитку.

«Время ли, государь, образцу и чину быть?» – наконец молвил подсокольничий с поклоном, подгадывая минуту. И царь ответил: «Время, объявляй образец и чин». И Парфентий Табалин крикнул Андрюшке Кельину, своему поддатню, чтобы тот тащил новодо-

ставленного канского кречета-дикомыта пред царские очи. Андрюшка Кельин, нескладуха, путаясь в собственных длинных ногах, с каким-то слепым творожистым взглядом пронес на рукавице через сени сокола, едва не прищемив полы кафтана в дверях сушила. И провожая взглядом свою птицу, которая нынче уже не принадлежала ему, Любимко с невольной кручиною мысленно поклонился Спасителю, завидуя молодому поддатню: «Господи, Отец родимый. Солнышко незаходимое, поноврови так, чтобы государь призвал меня пред себя, чтоб ему икнуло! Свет наш, надуй мне в ухо, чтобы такое намудрить, чтоб пасть пред очии!»

«... Экий разварня, соплей зашибить, на базаре таковских на полушку сотня, а ишь ли наловчился ногами кренделя писать», – возревновал Любимко к поддатню.

Но Бог весть, были ли мысли завистливые; но ежели и были они, то пропали, как скорый утренний волглый туман под солнцем оседает в кочкарнике, оплетая слюдяными волотями тугие травяные стоянцы.

Нет, не зря взрастал Любимко под отцовым приглядом: из-под его руки все до самой малой заусенки прилежно вычел он из стародавнего птичьего промысла, и, зная, в эту минуту в Окладниковой слободе грустно заскрипело стареющее отцово сердце, что вот понапрасну с такой легкостью отпустил он младшенького, надею свою, из гнездовья, может, и навсегда. Подпенная змея коварно ужалила Созонта блазнью, когда, позарясь на сыновьи желания, захотел поновровить им, усластить дитячьи задумки, спустил несмышлениша-гнездаря без призору в чужедальнюю сторону: де, лети из дому, коли взяла думка. А как мечтал удержатъ возле себя! Вот и хлебай нынче лаптем шти, старый...

Четыре начальных сокольника сплотились у стола, окружили птицу, и Парфентий Табалин принял белого кречета из руки помощника, справно и с достойной опаскою, и с тайным восторгом, и веселием; он властно ухватил кречета за опутенки, посадил на рукавицу, дивясь редкостной птичьей стати. Кречет лишь раз взмахнул белоснежными крылами, погнался по избе воздуха и, умащиваясь, горгогнул с тоскою, оборотясь к прорубу в стене, откуда источался слышимый лишь ему дух молодого хозяина, запах оленней одеваальницы, морского ветра, ледяных Шехоходских гор, кислой северной помаковки, зимней стыни родимого засторонка и прели весенней цветущей тундры.

От проруба доносило духом милой родины. Но в слюдяное оконце проламывалось апрельское солнце, такое жаркое в избе, морошечной желтизны лужицы растеклись по полу, и в одну из них погрузился, не забрызгав сафьяна, изузоренный государев чеботок. А в дальнем конце сушила в своем чуланчике на колоде мостился молодой челиг, ее сын, уже позабывший мамку, но у нее-то в груди еще не пожухла и не отпала волосинка родства. А в щель неплотно притворенной двери сочился влажный сквозняк с воли, тонкая прохладная струйка, пахнувшая зацветшим мохом, грибами, и елушником, и свежей кровью только что забитой скотины. И это тоже была родина. Все смешалось в птичьей душе в один оранжевый сгусток, кречет издал прощальный клекот и прицельно воззрился на государя, выметнув розовое змеиное жало. И государь подивился редкостной красоте дикомыта: широкая, снежного окраса грудь с атласным пером, умощенным в непробиваемую кольчужку, меченая черно-бурыми копейцами; махалки в аршин, перо к перу, уложенные вдоль литого тела упругими клиньями; бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях, желтый венчик на голове, будто наведенный вареным золотом. Птицы в венце государь еще не видывал. Это Царь Небесный смотрел на царя земного; воистину гонец Господень спосылан в подручники и для особой вести, и надобно урядить его по-царски.

И накрыли начальные сокольники кречета клобучком, шитым из веницейского алого бархата, низанного жемчугом, процвеченным зеленым шелком и серебряным репьем, утыканным золотыми цевками; а к среднему хвостовому перу приторочили серебряные колокольцы; а лапы в седых пуховых штанах покрыли сафьянными онучками, шитыми волоченым золотом, и поверх онучек повязали сильца с золотым кольцом, и через него продели

шелковый плетеный шнур с кляпышком, а грудь покрыли золотным бархатным покрывцем с алмазом чистой воды. Солнечный луч упал на голубой адамант, изломался в камне на сотни волокон, потом взялся пламенем, и птица вспыхнула жарким светом, слепящим глаза. Подсокольничий Хомяков вздел рукавицу с притчами и, перекрестясь, перенял уряженного сокола, приблизился к государю, как того заповедал урядник сокольничьего пути, но встал поодаль, с опаскою, чтобы Алексей Михайлович мог подивиться красоте птицы и погордиться ею.

Государь восхитился, в лице появилось детское, удивленное, ликующее. Только зараженный птичьей потехой человек, истинный охотник мог так обрадоваться столь дорогому подарку.

«Гамаюн... чисто воин! Так и звать впредь! – вырвалось невольно. – Откудова и чьих мест?» – спросил государь с хрипотцою после некоторого молчания, не сводя с белого кречета замороженного взгляда.

«Поднес от себя мезенский помытчик Любимко Ванюков и взят велением Афанасия Матюшкина на сушило кормленщиком впредь до твоего указа», – Хомяков покосился на волоковое оконце, и Любимко зарделся густо, сердце его возликовало. Услышал Господь его молитвы, отворил слух и уста; вот сейчас возвестит государь, де, призовите служивого пред мои очи. Любимко оправил кафтан, пробежался пальцами по гнездам пуговиц, шапку заломил круче. Но государь отчего-то потускнел лицом, слинял взглядом, будто внезапно уязвила нутряная хворь, и объявил подьячему Василию Ботвиньеву с досадою: «Пиши... Велю наградить двумя портищами сукна настрофиля лазоревого... Ну, самочинщики...»

И тут Любимку позвали из сушила – пришла пора прибираться.

Вечером в задних хоромах царские начальные сокольники пировали ествою с царской кухни; послал государь своим любимцам и по чарке меду стоялого, по кубку ренского да ведро пива выкислого. Поддатень Андрюшка Кельин крутился возле хором, где гостевал с Хомяковым и его отец, начальный сокольник пятой статьи; от него перепало из ковши и сыну. Тот, захмелев, хватил еще и браги, потом долго маялся на сушиле, пел песни и смеялся дурашливо.

Во втором часу ночи в окно постучал Любимко, попросил овчинный кожушок со своего ларя. Любимко не мог уснуть в избе. Стояло влажное весеннее тепло с близкой грозю, и парень решил завалиться спать в телегу на воле, на сенной клоч, накрывшись кожушком, уставясь мрелым взглядом в иссиня-черное со сполохами глинистое небо и вспоминая родину. Андрюшка выдернул из вертлюгов раму, подал овчину, поставил окно обратно в колоду, а запереть, такой разварня, позабыл спяну. Ночью рама возьми и пади в чулан и зашибла Парфентьева челига Мальца.

...Утром Андрюшку Кельина драли на конюшне, разложив на скамье, в два батога, вбивали науку, чтоб не дурил, а после ссадили на неделю в застенку на хлеб-воду. Но многие из рядовых сокольников оказались на тот день в гулящей по своим домам, и Любимко угодил по Парфентьевой статье на государеву пробную охоту в коломенские поля.

Господь услышал его мольбы.

Глава вторая

Видел бы сейчас батько Созонт сына своего в этих сырых утренних низинах, принакрытых сизым дымным туманцем, из которого выныривают кожаные капелюхи всадников. Туго екает селезенка в лошажьей утробе, гнется под седлом мягкая, отмокревшая спина под тяжестью седока, будто навалили кобыле на бедную хребтину листовенничный елуй, и вот волокит этот необхватный кряж по водомоинам, с трудом выдирая ноги. Тихо. Только звякнет иногда стремя, глухо кашляет в кулак пеший псарь, с головой утонувший в яремной сыри, проскулит ищейная собака на сворке; борзые на длинных вязках струят по скисшей летошней траве меж мягких бородатых кочек, наискивая и взрыдывая от запахов болотной дичи. Прострижет со свистом всполошенный барашек, проблеет сладко – и опять все тихо.

Хлюпая сапогами, проваливаясь в просовы и водомоины, пешие приказчики несут в берестяном коробье птицу с великим тщанием, боясь помять перье. Скрипнет арчак под грузным Любимкиным телом, и охотник неловко хватается за деревянную луку седла; не привыкший к верховому пути, уже истомленный до крайности, с потертостями на ягодицах, приискивает он покою разгоряченным, немятым стегнам. Любимко боится обернуться, где сажень в двадцати от него, плотно окруженный охотничьими стрелками и стремянными конюхами, едет государь, да дядька его боярин Борис Морозов, как и царь, также зараженный охотничьей страстью. Боясь потревожить тишину, Любимко откидывает на спину напозающее на живот саадачное лубье с луком и черкасскими стрелами, выданными из приказа Тайных дел. На поясе у сокольника с левой стороны вабило с крюком, подвешено на кольцо, рукавица полевая заткнута за лосиный пояс; под правой рукою – вацага, рог серебряный, полотенце, лядунка и нож. И только нож свой, домашний, непроточен на промыслах в долгие зимние вечера, с рукоятью из рыбьего зуба, в берестяном влагалище, задубевшем от воды. Нож в две Любимкиных ладони и может прохватить медвежье сердце насквозь.

Любимке жарко, он отпахивает верхние крючки ездового кафтана, размыкает кляпыши киндячного зипуна, подставляя грудь воле, и чувствует, как сырые змеиные хвосты скользко вползают под тельную рубаху, однако не в силах остудить разгоряченного тела. Любимко насторожен, он страшится опростоволоситься, взгляд его зорок и схватывает каждую видимую пядь наволока под ногами, залитую молоком; он старается ехать след в след за Парфентием Табалиным, что сонно качается в седле, как тряпошная кукла. Но душа-то Любимкина простодушно ликовствует, она поет высокую храмовую песнь, похожую на аллилуйю, и сердце его захлебывается горделивой радостью. Иногда лошадь по бабки проваливается в водомоину, и Любимко вздрагивает, захолаживает грудью, и ему мнится вдруг, что все наснилось...

...Царь-государь, очнися, стряхни с себя тугу и военную надсаду, что оковала тебя в кольчужку, изгони из сердца полковые хлопоты, тягости и неустрой долгого похода, молящие взгляды раненых, что провозили осторонь станového шатра, немой упрек скрипуче-говорливых телег, поднимающих облака пыли, внавал нагруженных закованных телами. Однажды царь подъехал к грустному ковчегу, накрытому пестрядью с пятнами рудяной ржавчины, нагнувшись с седла, откинул оголовком плети край покрывца и увидел на подводе ангела во плоти с открытым лазоревым взглядом, уставленным в небеса, льняную подковку волос над мраморным лбом, темный пушок над улыбчивыми червленными губами, обведенными голубой каймой...

Господи, мальчик же совсем, вьюнош, едва оперившийся, вставший на крыло, не сокол-дикомыт, а слеток, и уже покрыл себя бронями, и на тонкой, неловко заломленной шее красела крохотная ягодка крови, окруженная синими проточинами. Пуля из свейского солистра укусила пчелино, отравила жизнь, усыпила навечно, и, заваливаясь в траву, боярский сын

Пересвет Тороканов, наверное, и не знал еще, что уже у Христа в вечных войнах. И царь странно позавидовал покойному и устыдился своего здоровья, и своей чести, и вселенской славы. Так бы кротко умереть, это ли не счастье, это ли не подарок Господень за безгрешие? – он вздохнул, спешился, поцеловал юношу в лоб и в уста, перенимая в себя неземной, ни на что не похожий небесный холод. Вечером царь писал в Москву: «Добиваюсь зело, чтобы быть не солнцем великим, а хотя бы малым светилом, малой звездой там, а не здесь...»

И вся-то Руськая земля была сейчас тем вьюношей, принакрытым пестрядинным рядом; лишь откинь эти волокнистые, свивающиеся в змеи студенистые покроя, и там покажется прекрасный лик, исполненный спокойной нежности, выплывающий из сна, как из недолгой смерти, в жизнь вечную, чтобы вскоре вновь замириться, утихнуть в предночном закате и умереть, коченея, будто навсегда.

Попробовала свой голос малиновка и поперхнулась; залиvisto, с придыханиями, во все концы света прогулялся на гульбище тетерев и захлебнулся ранней истоמוю. Ночь сдвигалась нехотя, окутывая дремою всякую малую живулину. И в который раз государь подивился тугой тишине, обнимающей землю, еще не могущую растворить чугуны, цепенеющие от сна вежды свои. Даже скрип кожаного тебенька о голенище, короткий звяк стремени и прерывистое хлюпанье копыт в мочажинах не разрушали тишину, но лишь усиливали предутренний покой, охотничий настрой и то ожидание, коим полнится страстное сердце. Служивые меркло качались в седлах, перехватывая сна.

Царь же почасту подымался в стременах, вглядываясь в туманное молозиво, и снова нетерпеливо опускался в седло, покрытое барсовой шкурой; он колыбался на арчаке, как в детской зыбке, сызмала привыкши к походам, развалистой иноходи ногайского рысака чистых кровей, к лошажьему поту, к тому жару, что изливался из коньего тела по всему естеству охотника, лишь усиливая его азарт. Алексею Михайловичу хотелось взовопить, поскакать, устремиться к присмотренному заранее загону, куда гуськом, неспешно двигалась дворцовая ватага. Но птичьи стрелки с пищальми и стремянные конюхи, как бы упреждая азарт царя, туго обжимали, почти теснили его лошадыми, осторожничая даже в этой предутренней тишине, кою в любую минуту мог распороть хищный свист невидимой стрелы. Тела служивых были царевой броней, и хотя государю была досадна эта живая кольчужка, но и радовала его, подчеркивала Божественную нерушимую власть. Да и было чего стеречься: потерял ровный отпечаток, но сохранялся в памяти давний случай, когда в угодьях у Саввина монастыря он случайно, или по чьему-то злому умыслу, вдруг остался один на один с выгнанным из берлоги медведем, и нож, вытасченный из кобуры, постоянный спутник государя, тут не придал ему особой силы. Лишь Божье провидение спасло тогда...

Всадники выбирались из тумана, с мокрого наволока на веретые один за другим, и когда лошадь государева, оседая крупом, ступила на песчаную проплешину, избитую конями, тут на востоке зарыбило, сдвинулось, и оттуда полились по небу багровые реки, и туман прямо на глазах стал свиваться кольцами, западать в лога, оседать бисером на травяных клочках, и вся земля открылась государю от края и до края, осыпанная драгоценным крошевом, окрашенная пепелесыми и таусинными, рудо-желтыми и лазоревыми, голубыми и вишенными цветами, и на озерца, разбухшие от половодья, с низкими охрыными берегами, с аспидной темью под кряжами, упали огненные перья. И все покатое небо увиделось слегка осыпанное сумеречной пылью, сквозь которую уже пробивалась густая синь, еще прохладная, тянущая льдыстым сквозняком, но обещающая день добрый, куражливый, горячий кровью.

Видно было, как на стеклянной глади, по заливицам, прижимаясь в затенье рыжей травяной ветоши, табунились утки. «Господи, как хорошо-то!» – вскричало сердце государя. И вмиг забылся русский разор от долгой войны со свеем, и козни латинов, и горькое лихо от бескормицы, и тощая государева сума, совсем впавшая в бедность, загнетившая все серебро в походы, как в прорву, и коварство падких до ефимок купцов и дьяков, добро нагретых

руки на перекупке медных денег, что обесценили, изъязвили державу; и на эту хворь, на эти болячки, как синие мухи, слетелись греки и фрыги, и свеи, и деги и всё увлакивают с собою за рубеж, не жалея меди, скупают меха и золото, и оттого казна еще более испроточилась, а смердам с тех медных денег туга и кручина...

— Гляди, Борис Иванович, на Русь в смарагдах. Гляди, как изукрашена, сколь весела! — не сдержавшись, воскликнул государь, обернулся к Морозову. Из толстого, подбитого лисами ездового кафтана, как из беличьего гайна, глянуло на него заспанное бритое лицо боярина с набрякшими, покрасневшими глазами. Морозов шире разлепил веки, пообсмотрелся нехотя.

— Как баба на сносях, — буркнул с тайным вызовом. Достал из зепи хрустальный штофик, обтянутый серебряной проволокой, и, не чинясь, промочил горло брусничной наливкой.

— Баба?.. Сам ты баба, — шутливо возмутился государь. — Што-то тебя на дурное потягивает? Не баба, а девка на выданье... Да нет, княгиня венчается с солнушком. Бобыль ты и нехристь. Брадобритенник...

— Не бобыль я, батюшко, помилосердствуй. За что холопа своего честишь? На-ко умягчи сердце, — не смея пообидеться, боярин протянул царю штоф.

— Я-то воистину молвлю. А ты вот чествуешь меня, как ярыгу кабацкую. Иль с опойцей Пожарским спутал, сукиным сыном? Да и глядишь ты окрест, как бобыль на пустоши... Шучу, шучу, помилуй, боярин. А все ж, Борис Иванович, благословенна, стойна и урядна жизнь наша. Вечно жить хочется, когда вот так. Есть ли еще на свете такая земля? — Перекрестясь, государь запрокинул штоф и чуть не ополовинил его решительным глотком, утер усы. — Ловко мы удрали, а?

И засмеялся.

И тут увидел государь, что передние сокольники уже обогнули озеро, стали против ветра, приготавливаясь к охоте, и оборвал разговор.

«... Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, истрясла мужику черева, — бранил Любимко лошадь, уже с тоской вглядываясь в спину начального сокольника. — Привезут до места костей пестерь».

Неожиданно разведрило, развернулись небеса, грянул оттуда холодный, лазоревый с прозеленью зрак. С востока потянуло сквозняком, и от фиолетовых лесов, из-за червчатых зоревых полотнищ, развешанных по окоему, как бы воспели божественные накры. В ту же минуту протяжно, гнусаво вскрикнула выпь, и мир благословенный очнулся, встал из сна, как из смерти, восшумел на сотни голосов в любовном ератике. И это пенье на многие лады, это всеобщее пробуждение, этот прозрачный до хрупкости воздух, насквозь пробивающий гортань до самой утробы, невольно умилиствовали дремлющую душу и воспламенили кровь. Всадники воспрянули и скоро спешились в схороне за ивняком, уже сиренево набухшим, с желтыми цыплаками на сизых от сока ветвях; осторожно, приняв от приказчиков коробье с птицами, вытаились из засады. Парфентий из плетухи повабил на рукавицу молодого челига. Смышляя, что-то шепнул ему на ухо, погладил по затылку взъерошенное перо и слегка откинул сокола вверх, отпуская должник. Птица резкими взмахами пошла в небесную прорубку, на которую уже ложился латунный блеск близкого солнца, а потешники снова взлезли на лошадей. Из-за кустов было видно, как на веретье, окруженный стремянными, слез с коня государь, медленно спустился с горушки, поросшей вереском, почасту прикладывая ладонь горбушкой ко лбу, заслоняясь от солнца. Вода в озере стала малиновой, а птицы черными. Они уже почуяли грозу, ходили по стеклянной ломкой воде кругами, селезни, упруго махая крыльями, садились на гузку, пытались взлететь, но птичий грай, беспечность криков, пылающее костром солнце и небесное голубое водополье смирjali, снимали испуг.

Тут достиг своего верха сокол, и Парфентий Табалин поспешил вкруг озера к государю и доложил, что «сокол стал в лету и ждет убою», и спросил, не будет ли указа гнать дичь из уремин. Тем временем служивые отстегивали с седельных ремней тулумбасы, снимали с поясных колец वोцаги, иные же доставали дудочки и манки, жалейки и пищухи. И лишь вернувшись Парфентий, подсокольничий Хомяков, подбоченясь, взмахнул рукою, и десятки колотушек, окружая озеро полукругом противу ветра, ударили деревянными шарами по кожаным бубнам. Светлело небо, и на самом дне его черной порошиной мерно кружил и кружил челиг, оперев махалки на воздушный столб. Утки всполошились, встали на крыло, скоро потянули над озером. И сокол, вроде бы внезапно изрешетив крылья, незаметно глазу камнем пал в середину стаи, как бы провалился сквозь нее, но осадил, разбил утей на гнезда, разогнал по-за леса, хотя того желанного пера, кое должно бы, медленно паря, опадать в латунную гладь озера, не появилось. Значит, промахнулся челиг, не угодил в зашеек связы, не заразил добычу; но он тут же выправился и снова взошел над отбитой от стаи уткой, спешащей в ухоронку...

«Эй, парень, чего рот разинул? Не у тещи в гостях. Уставился! Давай готовь Гамаюна. Будем пробовать! – приказал Парфентий новому поддатню. Начального сокольника он непонятно чем, но досадил, был не по нутру. Вроде бы и слушался служивый, и споро чинил всякое дело, но был себе на уме, исполнял без старания и покорства, не сымая с толстых губ постоянной ухмылки. – Чего лыбишься-то? Готовь, говорю, птицу, чувал с мякиной». Обидел и разом осекся Парфентий, когда слегка подался поддатень над плетухой, расправил плечи и пристально оглядел старого сокольника.

«Тьфу на тебя, леший!» – мысленно сплюнул Парфентий Табалин и, отступаясь, не сказал ни слова более, с тревогою отыскал взглядом челига. А Любимко добыл из короба белого кречета, развязал кожаные задержки на затылке, сдернул с головы полевой клобучок. Гамаюн, разминая умиренное водяниною тело, резко взмахнул крылами, сбил овчинный треух с головы поддатня. Зазвенели серебряные колокольцы в срединном хвостовом пере. Белый кречет успокоился, принял стойку, в бурых змеиных глазах его появилась змеиная жесточь. Но он не крыгал, не скрипел, не щелкал клювом, не клохтал гортанью, не булькал зобом, срыгивая погадку, но был молчалив и недвижим, как бы высечен из белого с прожилками камня, и только белые пленки век, как совки клобучка, изредка накрывали, прятали его настороженный взгляд.

«Ну, братец, порадуй мою и цареву душу, понорови, – шепнул Любимко, без боязни наклоняясь к кречету, и подул ему в темечко, в золотые кружева короны. – Повитерь тебе в зад, разбойник...»

Сокол снова встряхнулся, малиново воспели колокольцы. Тем временем челиг в небе травил, гонял зазевавшуюся утю, как бы нехотя садился на нее и снова взмывал, потешая охотников, веселя душу. Птица металась, не зная, куда деваться. Сокол долго не слезал с птицы, не мог ее смертно заразить, не хватало силы, потом с великим трудом разбил связь, смертно заразил ее, свалился в приозерный чапыжник, делся прочь с глаз и учал валяться на дичи, истеребливая ей брюшину. Знать, худо был кормлен накануне, без радения. Хорошо, не было в охоте поддатня Андрюшки Кельина, иначе бы ведать ему скорый царев гнев за дурную службу. Потешники поскакали, отняли у челига добычу, подсокольничий отправился к государю дознаваться, вершить ли охоту дальше, иль свертываться, иль собираться в Тюхали на утреннее кушанье, где дворцового службой, засланной заранее, была изготовлена ества, иль досматривать дальние кулижки, луговые проточины, и водомоины, и прыски, куда затаилась спугнутая птица. А уж день вовсю разгорелся, солнце по-весеннему парко ярилось, накатывался клубами тяжелый густой дух нагретой воды, травяной ветоши, близких болотин и калтусин. Лениво вдруг стало и истомно, Любимко с трудом ворочал сонной головою, разглядывая угожья. К какой-то иной, незнаемой допрежь жизни случайно прикоснулся он

пока лишь краем, и эта жизнь, откушенная с краюшки, оказалась нажористой, плотной, но с напрягою, когда всякую минуту надобно дозорить за собою, чтобы не опростоволоситься, не попасть впросак. Парфентий Табалин, понурясь, сутулился возле и ждал отмашки Хомякова; ослабевшие глаза его под седыми ключьями бровей тускло слезились. Нынче вот опять промахнулся, старый, и по всему выходило, что пора на погост...

...Ах, молодяжка, подвела старика. Вот и доверься им...

...Царь встретил Хомякова с укоризнами. Два стольника держали над ним пепелесый солнешник из куфтери на двух бамбуковых шестах: шелк надувался, как парус, и всхлapyивал под ветром. Лицо государя уже по-весеннему шоколадно залоснилось, лишь в затеньях висков лежала мгла усталости. Наблюдая за челигом, предвкушая добрую красивую потеху, государь, чтоб лучше видеть, спустился к озеру, не замечая, что стоит по щиколотку в заводневшей жидкой дерновине, и тягучая стынь уже пробилась сквозь меховые чулочки до тоскнущих ног. Царь только что воспламенился забавою, о ней он мечтал весь прошлый год; и сейчас он спроваживал челига в самый зенит, как ребенок, желая соколу удачи и норова; он спсылал его в солнечный расплав, как бы засеянный дробленным пашеном, заранее угадывая птичью затею по ее лету и верху – и вот на тебе: все утиные гнезда пораспугали и всей потехе конец. Но когда подъехал подсокольничий, глаза государя еще хранили живое тепло.

«Худо вы промышляете, Петр Семенович. – Глаза смотрели мягко, с пивным густым расплавом, с золотыми искрами, но голос был уже сух и ломок. – Скверною, знать, кормите. Вас-то бы падалью, так каково? Вот ужо велю... Что ж на живое-то ленитесь напускать? А я ведь вам указывал, и Матюшкину тож, помните? напускать чаще на дикое, чтоб птица не засиделась. Писал же: пустить всякому кречету по четыре осорьи в седмицу. Худо, Хомяков, коли распустиха у меня под боком заселилась».

Хомяков опустил глаза. Катал скулы. Чуял вину и сам переживал пуще государя, но не оттого, что боялся острастки, но сердцем постоянно радел за дело. Алексей Михайлович, зажав в кулаке ременку, мерно хлопал рукоятью по сапогу, как бы пригваждывая каждое слово. И были те слова как пули.

«Я волю вам дал, щенки. Доверился, что станете учить молодяжку, пока не остербля. И гли-ко, повалился челиг на утю, как мужик с килою. Худо так-то, Петр Семенович, худо. – Левая щека государя нервно дернулась. Он прижал ее ладонью, утишивая скачущую жилку, отвернулся, приказал, не глядя: – Поди. Сбивай охоту. В Тюхали едем».

Государь померк, слинял лицом.

Хомяков поворотил лошадь. Когда проезжал мимо Морозова, боярин погрозил ему кулаком. Государь бормотал: «Я ль не указал им в „Уряднике“, весь чин расписал. Слушайте только, неслухи... Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте нелениво и бесскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу. Ишь ли, им, злодейцам, нынче и наука не в толк. На добром-то царе каково ездят. И Парфентий-то стал как сухой кизяк. Эх!»

Алексей Михайлович горестно вздохнул, почувствовал, что окончательно промочил ноги, вернулся на склон веретья и, пересилив гнев Иисусовой молитвой, направил дозорную трубку в супротивную сторону. Он увидел, как потекли в приказное место сокольники, и пешие псары, и приказчики, как упрятывались в шалаши птичьих охотники, чтобы напоследях, когда стихнет, настрелять дичи к царскому столу. Но что это? из урочища, с залитых талой водою болот слетела цапля и направилась на охотничью ватагу, несуразно протянув ноги, похожая на саранчука, нелепая и вроде бы совершенно беспомощная птица. Но государь-то добро знал, какой у цапли верх и беспощадный удар, и разящий вспарывающий клюв, и когда кречета в науку пускали на цаплю, то прежде ей надевали на клюв деревянный

футляр для обережения драгоценного сокола, за коим, быть может, не один месяц блуждали помытчики по тундрам и лесным засторонкам.

И вдруг незнаемый прежде поддатень посунул белого кречета с рукавицы вслед цапле. Царь видел, как ярился Табалин, грозил помощнику. Обыкновенная охота шла по росписи, каждый шаг был достоверно указан царем самолично, и нельзя было отступить от заведенного обычая во всякой мелочи под страхом сурового правежа и тюрьмы. А тут, ишь ли, сыскался такой смельчак, что самому государю впоперечку. Ну, алгимей, ах б... сын! – невольно вскричал Алексей Михайлович, не отрываясь от зрительной трубки. Но тут же позабыл свой гнев, не оглядываясь, поманил пальцем боярина Морозова; лицо его расслабилось, и все громоздкое, приземистое тело, утонувшее в широком дорожном кафтане, подбитом лисами, вдруг потонело и приняло легкость.

«Это ж Гамаюн... Истинная царь-птица! Я не видал такой допрежь», – бормотал царь, не заботясь, слышит ли его боярин.

Цапля, почуяв разбойника, на удивление споро пошла вверх, а кречет, слегка осторбясь, как гончак за зайцем, без натуги, казалось бы, с ленцой упираясь крылами, взмыл следом на самое дно приглубленного неба; они взбирались кругами все выше и выше, пока почти вовсе не исчезли из глаз, и только острый приимчивый взгляд государя находил в щемящем просторе два просяных зернышка, соединенных меж собою невидимой вервью. Такого верха достигает редкий кречет. Гамаюн встал в лету и принакрыл как бы цаплю сверху, и тогда они стали падать с неуловимой быстротою: над землею кречет мякнул, заразил цаплю в голову и тут же отпрянул, ибо птица щелкнула клювом, как кузнечными ножницами. И снова Гамаюн взнялся вверх для новой ставки, чтобы зависнуть над добычею, и как бы случайно, легко осадил в скользящем полете цаплю, оседлал сверху, ткнул ее в хребтину, вырвал щепотку перьев и отвалил в сторону... Этот кречет еще и куражился, он вроде бы покидал жертву, миловал ее, уходил прочь, размыкаясь в небе, так что сокольники пугались, что он собрался утекчи, но, делая круг по-за лесами, он снова настигал добычу и с какой-то холодной, безжалостной яростью долбил и долбил ее в зашеек, как долотом. Да, это был великий воин, каких поискать, и с великим верхом.

Он гнал жертву свою версты с полторы и затюкал над сырым урочищем, над самым ее гнездовьем, и на двадцатой ставке смертельно заразил ее и, уже не выпуская добычу из когтей, упал вместе с нею в чернолесье. И все служивые, забыв всякий свое дело, сбились в ватагу и заломили головы, и переживали с тем азартом, что свойствен лишь соколиным охотникам, ибо эта потеха самая благородная, тут нет счету добыче, но тут чувствуют душою, тут азартничают, и сам полет кречета, его недостижимые верхи, когда он почти размыкается в небесной молочной сыворотке, резвость и удар птицы доставляют сердцу столько неизъяснимой радости, кою не заменит никакая крупная добыча, взятая тенетами, засадой или пищалью. Ибо красотою живет птичий охотник, и ей, красоте, предан всякий чин, от младшего кормленщика и стойлового конюха до великого государя. Здесь в полевой охоте, несмотря на всю строгую роспись устава, они братовья по чувству, и сердца их бьются удивительно воедино, без сбоев и ревности.

Это уж когда перекинулась цапля и Гамаюн свалился с нею, набивая зоб пером и кровью, и Любимко торопливо поскакал в ивняки, чтобы перенять, повабить кречета, тогда, быть может, некоторые и позавидовали Парфентию Табалину, что он и на старости лет, у края могилы, заимел такую птицу во власти и перехватил государеву любовь на себя. Охотники долго не могли остыть, да и сам царь распалился жаром и все домогался до боярина Морозова, искреннего, запойного охотника, кричал: «Ты видел, каково ен мякнул?.. Ссадил, как свая на пику. Ты посмотри, Борис Иванович, двадцать ставок, да таким верхом. Думал, утечет. Уж все... Ах ты, думаю». – «Добрая, добрая птица, ничего не скажу, – соглашался Морозов, радый, что так все ладно сложилось и сладко умаслило царя. Иначе бы нуда сплош-

ная целый день пробыть возле угнетенного государя. А тут сам Господь поноровил. – А ты помнишь Кизилбея моего?» – «Чего там помнить? Пред Гамаюном курица», – нахмурился государь, крапивные пятна проступили на скулах, перешибая загар.

Морозов отъехал, обидчиво померк, но скрепил душу, чтобы не связываться в пустой пре. Царь тут же и обернулся, вроде бы почуял пустоту справа, отыскал взглядом боярина, увидел его кислое лицо с зернами табака на короткой скобе усов. Засмеялся, тут же отмякая: «Слышь, Бориско Иваныч! А ну велика отпустить нам водки! – Ишь надулся, как мышь на крупу, как жид на свиное ухо». Споро подкатил стольник с крытым поставцом, отомкнув дверцу, достал чары, тут же налил и отпил из своей.

«Ну, с доброй охотой, дядько! Ой увеселил! – чокнулся с боярином, лихо выпил. – Не кисни... Помню твоего Кизил-бея. Добёр был махметка».

Тут подъехал подсокольничий и первый сокольник Парфентий Табалин, а сзади, держа на рукавице кречета, и Любимко. Алексей Михайлович нахмурился, гроза пробежала в очах его: «Худо пасешь, Хомяков. Даве струнил тебя и сейчас скажу. Иль на правеж тебя? И ты, Парфентий, никуда не гож, даешь послабки. А ну ты, неслух!» – государь поманил Любимку пальцем из-под солнeshника, измерил его взглядом. Глаза у царя были медовые, и темно-каштановая, счерна, борода кудряво пласталась на груди, на рыжих лисах, и дикий собачий мех с белесой искрою казался чудным продолжением ее. И снова царь был иным. Не сводя с государя любящего взгляда, Любимко зачарованно тронул лошадь, хлюпая, перевалил через проточину. Хомяков перехватил гнедка за удила, означил место, где стоять поддатню. Любимко спешился, содрал шапку, отбил поклон.

«Дарык чапу, врести дан... Дай птицу-то, дай сюда! Экий ты выскеть», – повелел государь. Любимко и не понял, что говорят ему.

Хомяков ловко насунул на десницу государя полевую рукавицу, перенял кречета от замешкавшегося поддатня и с поклоном поднес царю. Алексей Михайлович перекрестился, с давний навыком властно прихватил кречета за опутенки, усадил на руку, погладил по взгорбку, широкой ладонью приобжимая на горле пуховое ожерелье. В прорези клобучка глаза птицы горели, как два янтаря в малахитах.

«Кто вынашивал птицу?» – строго спросил государь, вблизи приценивая полярного владыку, его стати, и остался доволен.

«Любимки Ванюкова, двинского помытчика, привоз. Сам и вынашивал дикомыта», – ответил Хомяков.

«Это он, что ли? – кивнул государь на Любимку. – И что, там все такие ослушники и поперечники? – Кречет угрожливо загорготал, заскрежетал клювом, забулькал зобом. Царь слегка отстранил тяжелую птицу, стережась сполошного удара махалок – Ой, страшный, ой, боюсь! – вдруг засмеялся он, и все охотники тоже засмеялись. – За стойную охоту, за великодушество велю выдать пятнадцать рублей на кафтан... А за самовольство и самохвальство отпустить пятнадцать плетей в науку. Но ежели и в другой раз провинится, то и в чепи. Чтоб неповадно было мудрствовать...»

Охота споро сбилась в ватагу, через луговину и по замечкам оттаявших полей гуськом тронулась в весь Тюхали на кушанье.

Вечером, уже в селе Покровском, в конюшне царского путевого Дворца выдали Любимке не жалеючи пятнадцать плетей для острастки. Любимко поднялся с лавки, натянул портки, встряхнулся, поклонился приказчикам и сказал без осердки, скалясь толстогубым ртом: «Спасибо, мужички, добро поучили... Ну и слава Богу, что не позабыл меня...»

Глава третья

Царь по привычке встал рано; помолился в походной церкви, сам прислуживая дворцовому попу. Душа радела от давножданного покоя, казалось бы, особую милость получил Алексей Михайлович от Господа за долгие старания. В этой тишине все мирское померкло, и монашеское уединение показалось счастьем. И то, что польскую корону настоятельно обещивают, и своей отступился, затих в берлоге, и немец поклонился Ригию, и Белая Русь наконец-то развесила свои рушники на Московской Заступнице, – все это показалось вдруг настолько неважным, что государь даже подивился в мыслях, что вот эти заботы и томили, досаждали ему столь долгое время...

Он вернулся в брусовую опочивальню, больше похожую на келеицу, жарко вытопленную с вечера, распахнул окно. Влажно потянуло с воли, глаза скоро привыкли к предутренней темени, и царь понял, что ночь сдвинулась, с востока небо слегка приоткрылось, как речная раковина, и там перламутр смешался с нежной зеленью и морошковым соком. Отчего-то в эти минуты особенно проникаешься, что Господне око всечасно зрит за тобою, а ты столь мал, незащищен и грешен, что Бога-то зовешь в подмогу с особой страстию, как осиротевшее дитя у гроба родимой маменьки.

Вскричала тревожно выпь у болотца; проблеял чибис над польцом; простригли со свистом чирята стайкой и хлопнулись на ближний прыск, отсвечивающий в подугорье мутным бельмом; забормотали, загулькали тетерева, головешками развесились по березам о самый край селитбы, их токованье просквозило улицу, подняло звонаря, и он торопливо раскачал колокола у церкви, зовя богомольников на утренницу.

Господи, хорошо-то как, будто при молитве. Да пусть не кончается это утро. Но чу! Где-то далеко всхлопали двери в деревянном дворце, многих служивый люд зашевелился в клетях и подклетях, в повалушах и чуланах, зачмокали по полу босые ноги, пролилась из кувшина вода в таз, заскрипели ворота – это сменилась караульная вахта; стольники друг за дружкой, ежась от утренней мозглети, бежали по двору в заход, их белые сорочки влажно светлели на площади, когда они сбились гомонливым гусачьим стадом, уже не боясь нарушить тишину. Царь, улыбаясь, отступил внутрь спаленки, чтоб не заметили надзора, а служивые мельком нет-нет да и взглядывали на государево окно, гадали, стережет ли царь; им так не хотелось спускаться под горушку, где с осени была вырыта иордань, сейчас всклень налитая снежницей, с глинистыми скользкими берегами, забродить в воду по окати, оскальзываясь, с замиранием в груди; и вот в эту купель надо было каждый день погружаться, ибо так постановил государь; а кто ловчил, избегал купанья, тех до брашна не допускал. Ну Бог с ней, с ествою, можно перехватить и на кухне у стряпухи, стянув оковалок вареной говяды иль ломоть от свиного стяга...

Но в потехах лесовых, в охотничьих ватагах и в путях богомольных в монастыри государь слуг своих – стряпчих, и стольников, и городских дворян, и боярских детей, и начальных сокольников, и стремянных, – по обыкновению, сажал за один стол, и кушанья эти, поначалу степенные, после обретали то редкое дружество, ту веселую праздничную легкость, коя, милоя сердце, запоминалась надолго. И государь в таких пиروваньях был простец человек, и лихо порою закидывал чару, и особо не чинился, не строжился, а после счастливой забавы иль крупной зверовой осеки и самолично обходил стол с кубком вина, награждая отличившегося охотника. Такой дружиной, известной лишь по преданьям, только в поле и можно посидеть младшему чину, которому в Верх Московский доступ зачастую заказан, и толчется человек низкого звания обычно где-то внизу, на Дворцовой площади, у первой ступеньки Спального крыльца...

Воистину как гусаки: поскрипели, а завидев подсокольничьего Хомякова, построились и вереницею покорно потянулись на иордань.

Тут вошел ближний боярин, украдкой постучавшись, осторожно прикрыл дверь. Был он в горносталевых чулочках и в мягких чуньках, шитых из зеленой юфти. И царь заговорил вдруг, не оборачиваясь, зная верно, что навестил дядька Морозов: «Вот много ли я из окна схватил взглядом, а как Господа въяве увидел. Ибо Русь. Он везде у нас отпечатался. Лесной угол, для чужого обавника нежить и невзглядь, а нам мир и покой. – Царь вроде бы продолжил разговор, затеянный неведомо когда, может, и дедом его, но супротивник тот был не вовне, а в самом государевом сердце. Греховный человек, стремясь заполучить хоть искру Божию, и государь сошлись в рати. – Да... покой и мир. И так в каждом углу. А мы воюем, мы ратимся, нас отичи и дедичи куда-то зовут. Из их могил свет призывный встает. Вот я с полками летось сколько верст сломал, а чужого места не нашел: кругом наши приметы, наши вешки расставлены, по нашим святым упокойникам всевечные свечи горят. – Морозов шумно дышал, он нанюхался с утра табака, не прочихался и сейчас с трудом крепился, мял переносицу. В припухших глазах тлел в спину царя безлюбивый огонек. Морозов уже знал, куда клонит государь. Снова махмет, басурманы, плачущий вселенский патриарх, что натолковано с малых лет. Но на сей раз боярин ошибся. Этот тихий закут под Коломенским – с протяжным криком выпы, с тетеревиным гульканьем, с вязкими серыми сумерками, струящими в окно, пахнувшими сладкоснежными последями, костровым дымом, московской дынею, прелью, березовым соком, – вдруг почудился царю той заветной обители, коей хватило бы для полного земного счастья.

Царь не пал духом, нет, но он как-то вдруг поразился вселенской громадностью этого тихого лесного засторонка. – Чего ж еще-то надобно человеку? Не напрасно ли мы ширимся, окутываемся чужой верою? Ой, боярин, укрупят нас обавники, очаруют чернокнижники и фарисеи прелестями. И ты вот, гляжу, поддался, а как силен был до веры! Молчи, молчи... Так не лучше ли замкнуться в этом куту, закрыться, переждать. Божье время неиссекновенно. Куда спешить? Не рано ли раздеваемся на посмотрение, себя кажем? И как долго ждать еще? Убитыми православными замостили землю, они еще не истлели, они зовут. Стародавних праведников мощи святые нетленные зовут. Мы не берем чужого, но Господь, поворотясь к нам, наконец, за муки наши, возвращает некогда ухапленное ворогом. Не в чужую землю вошли мы, она вся принакрыта словенским духом и светом Богородичным. Дух тот стелет, зовет. А все попрекают чужим куском: де, сухомытка горло дерет. И ты попрекаешь, в спину сверлишь взглядом: де, зачем в Польшу залезли, де, и Ригу-то надо немцам вернуть, и Украина, де, нам в тягость. И, де, поборами изнасилили Русь, и стоном стонет холоп. А напрасно попрекаешь, и тебе с тех походов не осевки достались, не одонья из коробья. Глико, уместил дворец пригородный золотом пуще царского, меня затмить хочешь. Э... Молчи, молчи...

Скажешь: де, богатство в тягость, де, кровь стынет. И сама жизнь в тягость, но в радость лишь смерть. Да, чужой кусок, черствый кусок, в горле костью встанет. Его, водой не промочив, не проглотить. А где чужое-то? С чего ополчились, Бориско Иваныч? У меня во Дворце под боком скрытни строите, как латинники дозорите за каждым шагом моим. Мало вас дедко Иван сек. И вас укупили фараоновы силы? Знаю, знаю, де, по Украине дух святого князя Владимира царюет, по нас кличет. А над Сербией дух святого Саввы царюет. А греки под махметкой лицо свое потеряли и веру испроказили, смиряясь силе. То исход наш, те тропы не заросли, они в сумерках лет адамантом сияют. Но погодить надо, погодить... Молчи, молчи. Сна нету. Как филин нынче. Все думаю: а не Господь ли попускает за грехи наши? Вот пораскрылись для чужебесных, а ведь страшно! Как голый на морозе. Вино от выдержки крепче, земля от запоров стойнее, меньше соблазнов. О чем не знаешь, о том не тоскуешь. Вот и дитешонка жалко порою, но через слезы лупцуешь за провинность. Бо то наука. А дай спуску,

упадет в изврат либо в кручину, кусочничать станет иль шалить, на отца будет жалиться, веру распродаст, землю распустит. Толкаете вы меня, бояре, на чур да на эх! Ну что молчишь-то? Язык проглотил? Помирал отец, с тебя клятву взял: целованием меня в вере крепить и делу учить, а ты и молиться нынче позабыл, табаку вот пьешь. Шебаршишься, как мышь в валенке. Чего делишь-то, иль мало накопил? Детей нету, кому гобина? Отдай в монастырь да постригися в схиму. Батьку моего Никона живым хочешь закопать...»

«Я его чту, государь. – Морозов неслышно приблизился к окну, глубоко вздохнул. – Но тебя люблю. Что мне гобина? Моя жизнь – твоя. Но он, б... сын, позабыл монашеские заповеди, на мирское перекинулся. Ты под его дудку пляшешь, его погудки поешь. Тебя долго не было. Он царить хочет. И неуж не видишь? Он себя папою возомнил, еретик, он вздумал Русь перетряхнуть, новины затеял. Священники от него восплакали, он Божьи лики ни во что ставит...»

«Не он затеял, а я», – сказал государь твердо.

«Ты, ты затеял, – торопливо согласился Морозов. – А теперь отстранися, прошу тебя. Отовсюду изветы и лай, средь бояр твоих смута. Старой веры хотят. Ты и их пойми. Свой халат, пусть и в дырках, милее чужого. – Морозов почти шептал, заступая в тень; елейница от крутого сквозняка под божницей качалась слабыми кругами, и этот полутайный голубоватый свет блуждал по лицу боярина, вылепливал то водянистые мешки под глазами, то сивый короткий волос, то прикляповатый грушею нос – Прошу тебя, отступи в тень, отстранися. Тебе достало своей славы. Пусть на него изветы и доносы...»

«Лукавец, ты всех пережил! Нет-нет, я не выдам собинного друга, великого государя...»

«Но две головы на одной шее не бывает. То дракон... И неуж дракон на престоле? Ты ж Богом венчан...»

Во дворе ударили в деревянное било, сзывая на утреннее кушанье. Морозов вздрогнул, словно бы кто со стороны остерег его: де, прислушайся к словам своим, не проговорился ли в чем? Долгая дворцовая служба приучила не доверять тишине; много перелазов и всяких ухоронок в Руси, к коим прилепляются враждебные уши. Много врагов у Морозова. Тяжелый нос выступил из полумрака, живущий вроде бы сам по себе, и Морозов напомнил государю лесного вепря.

Царь, почитавший комнатного дядьку за отца родного, взлелеянный на его коленях, сейчас необъяснимо, но почти ненавидел его. Потому что боярин говорил тайными государевыми словами. Морозов покусился на его сокровенное, он открыто заступил цареву волю, напомнил детство.

«Это немцы научили тебя избыть патриарха? – натянута, но стараясь быть добродушным, спросил государь. Но голос его пресекался. – Иль Омера, Платона начитался? Вдохнул яду еретического из Аристотелевых врат?»

«Государь, пойми... В затворе жить – это как бы без зеркал жить. Да-да... Я уже стар, и лыс, и сед, а все выюнош. Так уверился. Пока не смотрюся в зеркало, все молод. Так и мы. Загорделись, как лапоть пред сапогом. Чего ж, и то верно. Немцы – кроты. Но ходы во все земли понарыли. Они истину чуют, они богатство копят. Они долго жить хотят. А мы, как птицы небесные, все растрясем. Моя бы власть, государь, я бы в каждом приказе по немцу с плетью посадил».

«Ваш немец на дудочке заиграет, все крысы из дому вон. Русский заиграет – все нищие в дому. Нищий же богатого в рай ведет. Они, лутеры и латинники, в Господа нашего пятый гвоздь забили, гобины ради, а ты врага величаешь. Ты давно прелестник и меня завлекаешь».

«Какой прелестник, ты что, государь? – натянута засмеялся Морозов. – Я ли о Боге не стражду? Но я и о земле нашей радею. Надо отворить жилы и выпустить дурную кровь. Кровь надобно выметать. Кабы удар не случился. От дури. Алексей Михайлович, впусти в

Русь торговца. Золото и жидкую кровь делает горячей. Ты мне, старому, поверь. Худому не наставлю. Не раться с немцем, замирися, но возьми его в слуги».

Алексей Михайлович отворотился, спрятал взгляд, вроде бы потерял речь. А добрый ангел нашептывал остережение, пас христовенького... Государь, укороти немедля боярина, сорви с ушей покровцы обманчивых слов, ибо в каждом отраве и соблазн. Захочешь опереться на них, а это плывун, павна, дижинь и жиденъ. Отпрянь, сердешный, окстись, православненький, пока не очаровали. Опой от слов коварных куда хуже хмеля.

В любой реке бывают залавки, подводные обрывы. Ступаешь по отмели, забродишь в парную воду, не чуя беды: и вдруг – ах! провалище студеное, аж сердце захватит. Порой и смерть тут сыщешь. И к такому залавку уже приблизился государь, душою ведая стылость тайных гремучих родников, змеино сплетающихся в глуби. Но он лишь погрузил пятку в это провалище и, страшась бездонной, крутящейся, засасывающей воды, отпрянул на время, переживая сердцем непонятную сладость и терпкость испуга...

Отпрянул и погрозил кому-то пальцем.

Только что румянилось небо, и вдруг исподтишка затянуло наволочью из гнилого угла, закрапал мелкий весенний дождь; под этим обложником добро прееет, готовится к родинам земля.

На потеху после раннего кушанья решили не ехать, разобрали кладь, накормили птицу, стали ждать государева веленья. Служивое дело приказное. А царю хотелось потех, он томился от пустого сидения. Спросил зверовщика: что с волчьим двором в Покровском? И оказалось вдруг, что в зверинце подгадан медведь, недавно взяли живым на осеке; так удачно подноровили вместе с начальником Потешного двора Василием Голохвастовым, чтоб царя порадовать.

Алексей Михайлович после памятной встречи с медведем, когда едва не погиб, перестал баловаться серьезной охотой, с рогатиной и вилами на хозяина не хаживал, но забавы зверовые любил. И для того были срублены близ охотничьих угодий волчьи дворы, где содержались и волки, и лисы, и медведи для травли и боев. И куда бы ни отправился тешиться государь в подмосковные уголья, во все пути отчины – то ли в Измайлово, иль Хорошево, Чертаново и Осеево, Ермолино и Дмитриеве, Тонинское и Семеновское, Покровское и Балабаново, – везде ставлены зверинцы со всею угодной царю живностью и срядой, и дожидаются там медведи дворные, и гонные, и дикие; а если надобно душе, то притянут зверину прямо из леса. И для того были присмотрены медвежьи лежбища, и притравы, и кормные места. И за всяким лесным ухажьем царевым следил глаз зверовщика, коему был дан строгий наказ блюсти лес и никого из чужих охотников под страхом смерти в уголья не допускать...

Чаще медведями тешились в Кремле, иль под горою, иль на заднем государевом дворе близ палат патриарха, зимою же на льду Москвы-реки, когда травили зверя британами. Иногда тешились на Псарном дворе, где гоняли медведя собаками, иль справляли забавы в загородных дворцах. Боролись обычно с медведями дверными, учеными. Хозяин частенько драл смельчакам зипуны, и кафтаны, и штаны, мял и ломал забияк, изъедал им руки и голову, выламывал зубы, портил губы и глаза, но до смертного убийства не доходило. Куда же рисковее были бои с дикими медведями, коих приваживали прямо из леса, иль мало обжившимися на потешных дворах. Бойцы выходили с вилами иль рогатиной, и требовалось много силы, и хладнокровия, и бесстрашия, и ловкости, чтобы посадить топтыгина на вилы. Это была борьба страшная, зрелище для людей с крепкими нервами.

Дождь-ситничек наконец перестал. Влажное небо нависло иссиня-черной лещадной плитой. Загон был посыпан свежим желтым песком, чтоб не солодилась, не растаптыва-

лась грязь и не проступала кровь. Ристалище – пять сажней на пять – обнесено высокими бревенчатыми палями, заостренными сверху. Мокрые бревна блестели. Поверх стены был настлан мост из колотых плах. Сейчас цареве место покрыли толстым брусеничным ковром с густым ворсом, поставили креслице с приступком, обтянутым синим сукном. Служивые уже толпились на обломе, расхаживали по галдарее, проглядывали крохотное польцо, словно бы никогда не видали ранее, примерялись к загогу, ревниво дозируя друг дружку, гадали промеж собою, кто насмелится нынче брать потапыча. А стремянный конюх, начальствующий над Покровским волчьим двором и над псарнею, сказывал, де, нынче приволокли на телеге матерущего сергацкого барина пудов на шашнадцать, взяли тенетами на привадах. Был меж потешников и галичанин сын боярский Федор Сытин, что не раз барывался с хозяином, и Петрушка Горностаев, что дважды вельми удачно тешил государя на Дворце, бился с лешаком, и Петрушка Мякотин, что дворных медведей дражил, да и среди стольников могли сыскаться охочие до свирепой страсти. В общем, дожидались государя бойцы имениные, страху не ведающие, верная царева служба, что ради государева веселья была готова без колебания и голову на плаху сложить...

Чуть погода и царь явился, поднялся по лесенке на мост, придирчиво оглядел кулижку песка; служивые встретили государя большим поклоном и не смели поднять взгляда, пока Алексей Михайлович опускался в креслице. Маленькая бархатная сломка была на зало, темные волосы, опадающие на серебряный кружевной ворот походной темно-синей епанчи, были под цвет отпотевшей весенней пашни. Царь откинул голову на бархатный подзатыльник кресла, прикрыл глаза, собираясь с чувствами, он еще побарывал в себе утренний разговор с Морозовым; хорошо, того не случилось возле, сказался больным, старый, лег почивать, заушатель. За спиной застыли два стряпчих с суконным покровцем от мороси и стольник князь Гундоров. Лоб государя, до того страдальчески изморщенный, разгладился, какая-то безмятежная, беспечальная улыбка тронула губы.

Еще не разомкнув очей, Алексей Михайлович взмахнул рукою, и тут разом ударили барабаны, взбренчали трещотки, загулькали сопелки и гудки по всем углам боевого поля. В волчьем дворе распахнулись ворота, и из прохода под обломом с крехтаньем, подслеповато щурясь после темного закута, вышел михайло иваныч, лесной архимандрит, матерущий старый пест. Он двинулся по кругу валко, неспешно, косолапо выкидывая вкрадчивые плоские пяты, убрав приплюснутую голову в мохнатый воротник. Шерсть на рыжих ляжках, и на гузне, и на подчеревах болталась клочьями, линяющий с зимы мохнач был в опрелостях и подпалинах; еще два дня тому он жировал на поездах на оттаявшем болоте, искал коренья и торфяных живулин, выгоняя из нутра застоялые зимние погадки. Потом пришел на приваду (кислую требушину), и тут его полонили. Это был стервятник, каких поискать, уречный князь, володетель раменских урочищ, и даже на истошелях за лежку мяса шкура переливалась волнами, выказывая силу окающую. Царь зачарованно свесился с креслица, заерзал в толстом ковре юфтевыми сапожонками, словно бы замечтал спрыгнуть вниз, когда медведко проходил мимо, равнодушно зевая, выказывая частокол еще не съеденных зубов и черное небо.

Он даже остановился прямо государя, почуяв запах родостама и розового масла, задрал голову, свинцовые глазки в буроватых озеночках были пристальны и вроде бы улыбчивы. На царя пахнуло звериной утробой. И мог поклясться Алексей Михайлович, что этот лешак и подмял его тогда в звенигородских лесах. Чур мне, чур! Навидится же пустое! Во многих государь бывал осеках, и всякий раз его дивила эта дикая неукротимая сила. А барабаны все били не умолкая, задорили потешников, разжигали азарт. Алексей Михайлович снова дал знак, и ловчие стали поддевать медведя длинными пиками, колоть в загривок, бесить мохнача и задорить. Косолапый взревел, ярясь, и пошел на рысях, взлягивая задними лапами, как борзой кобель.

И в третий раз, как то велось по росписи, государь дал весть, барабаны смолкли, на облом вышел ражий бирюч и возвестил в совершенной тишине: «Эй! Братцы-молодцы! Чай, засиделись на государевах харчах! Кто смелой ратиться с михайлой иванычем, того ждет царская милость!»

И вроде бы заработали служивые: всяк ждал зова, полнясь нетерпением, примерялись к медведке, а тут с жару вроде бы окатили родниковой водою из бадейки. И взоры попрытали, потупились, сердешные. Знамо дело, на медведя идешь – постель готовь. Чертова ведь сила, заломает – не пикнешь. Да и то: смерть в глаза не смотрит, она на тихих подкатит, неслышно, да и оборет. А жить-то хочется...

Царь, насмешливо прищурясь, обежал взглядом стену, где кучились и сокольники, и псары, и дети боярские, та самая челядь, что всегда у царя прислоном, его броня и защита. Он-то хорошо ведал русинский нор, де, за спинами не засиживайся, да и вперед не лезь. С поклона голова не отвалится.

И вдругорядь поклонился бирюч, зычно прокричал на все Покровское, аж в другом конце сельца забрежали собаки. Ежли где еще и таились молодцы иль сиднем сидели на лавке, и те бы должны притечь на потеху, повеселить Алексея, батюшку родимого.

«Аль повывелись богатыри на Руси, в ком кровь не водица! Иль по ошибке порты носите и в бабы вас надобно зачислить, в повойник обрядить да поставить к печи хлебы пекчи!»

«Дак мы што... Мы ништо, – слегка заершились мужики на обломе, нарочито обижаясь. – Наше дело подневольное. Слушай, рябина, что лес говорит. Дак ведь и не к теще на блины. Сам уразумей, пустобрех. Раз помаслит ломыга, год облизывайся».

Царь еще пуще присбил бархатную еломку на затылок, почуял сырое тепло, стекающее по спине, пристукнул, горячась, посошком. И в третий раз поклонился, вскричал бирюч:

«Ми-ла-и-и!.. Что, зайца напугались да в порты обос... И неуж жидки в ногах стали, как дижинни шаньги? И неуж столетнего дедка Микиту с псарни звать? Он-то и палкой зашибет. Велик ли медведко-то, сами глядите. Ни кожи ни рожи, одна шкура на мутовке. Малец потянет за хвост, дак сдернет...»

Снова закрепил мелкий дождичек, противный такой сеянец, что неприметно до костей промочит. Стены загона залоснились, ярый песок потемнел. В такое погоду бойцу твердая рука нужна.

И тут, пока расчухивались, полагаясь друг на дружку, ведь во всяком деле есть перво-статейные зачинщики, из-за государевой спины выдвинулся князь Гундоров, отбил земной поклон, объявил твердо: «Дозволь ратиться, государь». В его руках откуда-то взялись круторогие вилы, влажное ратовище лимонно желтело. И всяк в эту минуту, кто воззрился с удивлением на князя, подумал, наверное: да куда ты лезешь, милый? С лоскутом да к целой шубе примериваешься. И то сказать, не особенно видок и плечист князь: сухой, тонкий, что виноградная лоза, нос ятаганом над тонкой стружкой усов, и толстые черные брови над жаркими глазами, что медведи, лежат. Гундорову царь мирволил, не раз прислуживал тот за трапезой, но больно горяч столыжник и обидчив; скажи слово не в масть, так и губа на локоть. Царь благосклонно кивнул, ничего не сказал, и князь по-кошачьи соскочил с тына в набухший песок, слегка увязив сапоги с короткими широкими голенищами. Медведь, вихляющий по кругу, оторопел от подобной наглости, по-собачьи осел на гузно. И тут снова наддали ему пикою в зашеек, проточили шкуру.

В загоне князь казался вовсе мал и неказист, он отпрянул, прижался к бревенчатому тыну, и на походной куртке отпечатался мокрый след. Михайло иваныч взревел, что твоя иерихонская труба, и тут у всякого поединщика, не рохли, не робкого десятка, дрогнули бы, подсеклись коленки. Шерсть поднялась на загривке, в черных морщинистых загубьях запуздырилась желтая пена. Медведь оскалился злобно, остервенился, верхняя губа задралась,

обнажив белесые, припухшие с зимы десны с притуплёнными клыками. Травили хозяина, подтыкали пиками враги недосягаемые, изнуряли его гордоватую натуру, доводя до исступления, и вот мучитель, наконец, напротив, лишь стоит взяться на задние лапы и приобнять тварь беспечную, легким ласкающим замахом стянуть кожу с головы на глаза. И пест встал на ноги, гора горою, как нездешний циклоп, продавливая ступнями набухший водою песок, оставляя на нем великаньи человечесьи следы. Гундоров перехватил ловчее вилы наперевес, по-кошачьи легко отпрянул от стены, лишившись последней укрепы.

Он обернулся, и государь увидел на его лице застывшую усмешку. Азартное дело – медвежьи бои, но тут вся надея лишь на себя да на участливость Господа, на ангела своего. На охе да на ахе далеко не уедешь. И потому на обломе воцарилось гробовое молчание, чтобы резким возгласом иль напрасным шевелением и пустой говорей не отвлечь бойца, ибо у дерзкого, что решился на рать, вся жизнь позади. Любимко даже кафтан расстегнул, взопрел разом; мокрая, лоснящаяся от дождя выя бурым окомелком из круглого ворота тельной рубахи; овчинную скуфейку в кулаке замял, торчит наружу заячьим ухом. Подумал Любимко, жалеючи князя: эх, стурбулевая голова за грош пропадает. Слетит бошка, как репка. Уж больно жалок повиделся боец. Небось побился втихую со стольниками об заклад, позабыл, торопыга, что споруйся до слез, а об заклад не бейся...

У государя пальцы сжались на поручах креслица, аж побелели козанки, лицо сбледнело, потеряло румянец, как бы покрылось легкой изморозью. Эх, христовенький, так люто искручивают твое сердце сладкие забавы, что и Божьи заповеди долой, за-ради вот этого минутного счастья, и тогда все тайное, ухороненное в сердечных скрадках от стороннего любопытства, оказывается наруже и в этих шально искривленных губах, и в слюдяной поволоке, затмившей глаза. Царь каждый шаг мысленно повторял, вроде бы сам ратился: эх, кабы не государева шапка, то быть бы Алексею Михайловичу в зверовщиках, видит Бог.

Медведь надвигался на Гундорова, собою застилая небо, а князь стоял вроде бы в нерешительности, словно бы, покорясь, ожидал своей участи; но то, с каким хладнокровием он встречал мохнача – не ерзая, не вскидывая голову, но по-рысьи утянув ее в плечи, и смоляная густая волосня поднялась копешкою, – выказывало в стольнике бойца умелого. Хозяин уже завис с утробным рыком, широко распахивая лапы, когда Гундоров шагнул прямо в объятия, вонзил вилы в подреберье, в самый дых, и, подсадив зверя, ловко воткнул конец ратовища в песок. Лесной черт, нарвавшись на вилы, страшно так заверещал с подвизгом и хрипом, оседая тяжким туловом на рога, роняя из пасти сукровицу; он молотил лапами воздух, пытаясь достать князя, и вдруг ударил лапою по держаку, ратовище лопнуло, переломилось, как соломинка. Но князь не сробел, выхватил нож, воткнул в шерстяные мяса, а отскочить не успел, подвел под сапогом вязкий наводяневший песок. И бедный боец тут же исчез, провалился под лешачину, как в черный омут, принакрылся плотно звериным телом. Вздох прошел по облому. И хотя ловчие и псари были наготове с рогатинами, но всяк ловил взглядом государеву волю. На службе ведь так: слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет. Царь же, слегка помутнев головою, остеклянившись замороженными глазами, безмолвствовал, не сводя напряженного улыбчивого взора с лесного хозяина, загребающего под себя несчастного. По песку расплывалось ржавое рудяное пятно.

И-эх!.. Села курица на тухлые яйца.

Тут показалась белая, как обветренная кость, уже растелешенная рука Гундорова. И чей-то голос явственно сказал сзади: твой день, Любимко, не праздный труса. И поддатень, еще с вечера битый за самовольство, уже позабыв науку, махнул с тына вниз, в два добрых прыжка одолел песчаную кулижку, оседлал медведя, как уросливого жеребца, и, схватив одной рукою за носырю, другою обвил шею и заломил зверю башку.

Мохнач, забыв от боли несчастную жертву свою, и сделал-то лишь шаг-другой, и тут хрустнули шейные позвонки, и медведь рухнул на передние коленки. Поддатень выхватил

нож и словно бы вбил с замаха длинное лезо под лопатку; кровь ударила горячей струей и оросила лицо, и шею, и холщовую срачицу охотника. Тут с облома поспешили служивые, подхватили ошалелого князя, поволокли на волчий двор, позабыв Любимку, не смея приблизиться к распластанному медведю, вроде бы уснувшему на песке. Любимко одиноко стоял подле песта, ошарашась, и вытирал окровавленные липкие ладони о кафтан; ныло потянутое плечо, кожа на пальцах висела лафтами. Он стоял, не смея поднять взгляда, дрожа от внутреннего озноба. С облома вдруг рыкнул Парфентий Табалин, жалея дурака: пади на колени, балда, проси милости, неслух.

Государь молчал, вперившись взглядом в самовольника, и не мог расцепить пальцы с подлокотников. Какая-то дурнота вдруг приключилась с ним, и не от потехи даже, но от сердечного напряжения, от неминуемой беды, коей страшился и ждал; подчеревные колики поднялись в груди, перехватили дыхание. Царь переживал неожиданную боль и отстранение, дивился могучести поединщика, его простодушному, почти детскому лицу с мягким, полупрозрачным каракулем невесомой бородки, с кровавым сеевом по щекам и в подусьях, где неросло пока шерсти. И глазки занимали царя, крохотные, свинцовые, медвежоватые, с тонкой розовой каймой, словно бы плоть и дух лесного черта переселились невидимо в поддатня. Да и сапоги-то у служивого были куда крупнее медвежьей лапы, а икры, так тесно, распирали широченные голенища. Эку вараку, эку живую гору мясов народила земля, восхитился царь, не показывая виду. Взял да и сломил песту голову, как мокрой курице.

Боль отпустила, покой снизошел на душу, и государево лицо призагмглось румянцем. И служивые на обломе каким-то неисповедимым образом услышали перемену в царе и возвеселились, понимая, что гроза обошла стороною, загомонили, радые счастливому исходу, завопили Любимке, не таясь: «Пади, леший тебя понеси! Пади, иль сломят, дурило!» Любимко же лишь шагнул к цареву месту и приспустил, набычась, голову, переминался, отмякая бугристыми плечами, будто под сермягою было толсто набито хлопковой бумагой.

«Подымись», – сурово велел государь. Любимко взошел на мост, чая худу. Но он не слышал за собою вины. Голоса потешников доносились издалека, как накат морской волны.

«Ты что, страха не ведаешь, ослушник?» – спросил хрипло государь и вдруг поднялся с креслица и неожиданно примерился для любопытства: даже оставаясь на приступке, он только-только доставал головою бороды поддатня, хотя и сам-то Алексей Михайлович был росту середняго. Царь уставил взор, как бы изучая поддатня, вроде бы наискивая слабинку: лицо служивого, орошенное кровью, было в мелких ржавых конопинках, а от всей стати веяло на государя несокрушимым здоровьем и чистотою. Любимко смутился, но взглянул на государя пристально и смело: в крохотных озеночках, опущенных частыми черными ресничками, не было дерзости.

«Чего бояться-то, государь? Все под Богом ходим, – сказал Любимко твердо и вдруг рассиялся взглядом: – Однова помирать-то».

«Пойдешь ко мне в стремянные?...»

«Твоя воля, государь...»

После потехи угощал Алексей Михайлович в Столовой палатке водкой, медом, пряниками, астраханским виноградом и маринованными вишнями. У князя Гундорова лицо было в спекшихся рваных язвах, изъеденная рука на перевязи. Он угрюмо супился с краю стола, а напившись, вдруг подскочил к спасителю своему и мстительно закричал, брызжа слюною: «Зачем лез, ты скажи, а? Кто тебя звал, а? Ты вор, вор ты, б... сын!»

Вопил князь Гундоров на служивого выскочку и не ведал еще, не слышал душою, что вскоре сойдет он по кругу вниз, как ярыжка Пожарский, а спившись, живо сгорит в кабаке.

Через неделю после большой дворцовой охоты привели Любимку к присяге. Пред всеми стремянными и дворными конюхами, сторожами и стряпчими поклялся он на кресто-

целовальной записи: «А что пожаловал государь-царь быти на своей государевой конюшне и в стремянных конюхах и мне государево здоровье во всем оберегати, и зелья, и коренья лихого в их государские седла, и в узды, и в войлоки, и в рукавки, и в наузы, и в кутазы, и в возки, и в сани, и в полсть санную, и в ковер, и в попонку, и во всякой их государственной наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца самому не положите и мимо себя никому положите не велети...»

Да еще сшили Любиму кафтан киндячный на русаках, а на кафтан тот пошло киндяку зеленого восемь аршин, да пятнадцать хребтов русачьих, да мех русачий в тридцать алтын, а на опушку да ожерелье положили пуху на двадцать алтын.

Да отпустили стремянного конюха в гулящую на двадцать ден. Кабы был Любим соколом, то слетал бы в неизреченные родимые места к отцу-матери и голубеюшке Олисаве. А иначе по-иному никак не поспеть.

Часть четвертая

Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу...

Глава первая

Оле-е!.. Юродивый Христа ради не оставляет по себе следов вещных: он похож на ровный, безмятежный весенний дождь, что засекает роженицу мать-землю; иссяк, изжился жертвенно, но в воздухе-то благодать, кою может испить всяк страждущий. Юрод – это странник по душам смиренных овчей и метит их тяжким своим уроком, стараясь повторить страдательный путь Спасителя, а грудь свою отворяя для любви: «Все приидите, все напийтесь».

Священники, служители дома Иисова, ревностные стяжатели веры, не ропщите на странника, на убогость его, не сейте шипов на его тропе, не хулите ту неподъемную ношу, что взвалил на свои рамена христовенький, ради спасения вашего внутреннего ветхого человека, чтобы муками своими приоткрыть и для вас врата небесные. Не кляните блаженного, ибо то зависть в вас ропщет, распалившаяся, как костров уголье, то бесы точат ваше гордомыслие, умащая проказы елеем видимой доброты. Веруйте, что жизнь подвижническая – это цветник церкви, ее благоухающая роза, ее свеча негасимая, издали видимая безыскусственному верующему сердцу из самой-то гнетущей завирухи; это трепетный, такой вроде бы бессильный огонек елейницы, неподвластный ханжам, и арбуям, и насыльщикам скверны, рядящимся в плащи пастырей и ревнителей церкви, но уже порченных изнутри шатанием, готовых переменить ее. Юрод не перехватывает славы церкви, ее видимых прелестей, не подтачивает ее благодати и тайное не огрубляет, не делает явным. Но взгляните с трепетом благоговейным, как через грады и веси, покрытый в монашеский куколь иль в прохудившиеся лохмотья, сквозь которые светится измозглое тело, а то и вовсе наг, опоясанный гремящими цепями, как змеями, он приближается к вам с протянутой ладонью не как прошак, но пророк и вещатель, и там, в заскорбелой от грязи, в струпьях и язвах горсти меж черствых крох колобов и шанег струит, переливается, как драгоценный смарагд, неиссыхаемая Христова слеза. Взгляните в очи его омрелые, в розовой бахrome от бесконечных скитаний, и в их белесой мути, присыпанной тленом и прахом, обнаружится смысл вашего короткого быванья, и вы вдруг поймете всю тщету земных усилий, и невольно склоните долу покорную голову свою, замгнете очи и с дрожью сердечной станете ждать его слов, его скрипучего гарчавого голоса, отворяющего самое тайное, сокровенное вместилище греха.

Чуете-нет, людишки черные, кашеи и смерды, казаки и бобыли, яко черви, денно и ночью, ради куса насущного страдающие на пашне и в хламе забот вседневных едва хранящие свет небесный, как через хлебное жнивье меж суслонов, овянных житным запахом, не накалывая о иглистую стерню босых обугленных ног, из дальнего поморья попадает к вам неспешно новый юрод Феодор Мезенец, а молва о его чудотворной силе далеко поперед бежит. Не страха ради, но для спасения заленивевшей души остерегает странник беспечных, убивающих в себе Господа: «Антихрист прииде ко вратам двора, и народилось выб... его полная поднебесная. И в нашей Русской земле обретется большой черт, ему же мера высоты и глубины – ад преглубокий. Помышляю, яко во аде стоя, главою и до облак достанет. Внимайте и разумеите вси слушающие...»

Феодор уже перепог зиму, идя о край Двины, босой, в ветхой хламиде, с чугунным крестом на впалой груди. И вот он придвинулся к Устюгу Великому, где блажат испокон Прокопию юродивому, что вел житие жестокое, с каким не могли сравниться самые суровые

монашеские подвиги. Всяк сызмала хранил его пророчества и передавал по памяти и роду, как редкую святыню. Однажды Прокопий, войдя в церковь, возвестил народу Божий гнев на град Устюг, де, за незаконные дела злы погибнет этот вертеп от огня и воды. Но никто не поверил, не послушал призывов юродивого к покаянию, и Прокопий один целыми днями плакал на паперти, вымаливая у Господа прощения заблудшим овцам. И однажды страшная туча нашла на город, земля сотряслась окрест, и в ужасе побежали православные в церковь, где плакал Прокопий, и с молитвами пали ниц пред иконою Богородицы, чтобы Царица Небесная отвратила Божий гнев. И каменный град обошел Устюг стороною, но осыпался с небес в двадцати поприщах от него. И вот поныне лежит камень, как страшный небесный посев, а лес повыбит и посечен на многих десятинах. И как тут не поверить блаженному Феодору, его зрячему сердцу, что и время-то пронизает сквозь. Ибо ступает-то он след в след Прокопию чудотворящему, этой святой иконе Устюжской, словно бы и не истирались они на сырой земле-матери...

И где бы ни останавливался Феодор – корочку хлеба позобать, иль для ночного приюту, иль для молитвенного поклону у придорожной часовенки, иль у поклонного креста для умиленного плача, – там и принимался благовествовать, вроде бы безотзывчиво вперясь в небесную ли пустоту, иль на лайды, полные весеннего прыска, иль в косогор речной, уже полыхающий желто от иван-мачехи. И тут народ стекался как бы ниоткуда: из хиж, и банек, и бугров рыбацких, и купецких лавок, и от ремесленных горнов...

«Церковь бо не стены церковные, но законы церковные, – стенал юрод. – Егда бегаеши в церкву, не к месту бегаеши, но к совету: церковь бо не стены, а покров, вера и житие. И как не восплакать, увы, нам, коли некуда притечь к совету: кровля та поиструхла, а стулцы произгрызены червями, и в алтаре, и в горнем месте, и под престолом свили себе гнездо змеи сатанаиловы. Какого же совету сыщешь тамо, глядячи в те еретические иконы, натяпанные мерзким богомазом, ежли в каждом окне улыскаются бесовские рожи. Братцы мои христовенькие, убоитесь же суда Господеви, что грядет с часу на час... Иоанн Златоуст сказывал, де, приидет антихрист в северной стране, зовомой Скифополь, и стекутся сюда еретики со всех сторон, и выше земли сокровенной под самое небушко вздымут они чернца, и многие души тогда прельстит он и погубит. Скифополь! не наша ли то Руськая земля? И чернец-антихрист не патриарх ли московский Никон, пришедший не вем откуда и стан себе воздвигающий, зовомый новым Иерусалимом? И заповедаю вам пугатися тех церквей пуще скимена рыкающего, а иконы прельстительные кидайте в огонь и пепел срывайте в ямы на сажень вглубь, чтобы не проросли плевелы, иначе от скверны тех образов в гортань вашу вползут червие и поначалу поедят сердце, а после погрызут и самого Христа...»

Охти мне! – всплеснет ладонцами изжившаяся старушишка, и червие, изгрызающее нутро ее, вдруг увидит въяве, и поспешит сердешная в подворье свое, где на притолоке давно излажен и домок, и крест вековечный из листвяги с изузоренной титлою «ИХ СБ», и станет стенать она и просить Спасителя, чтоб призвал к себе в свои благоухающие сады под ангельское крыло, пока не явился в мир окрещивать наново неведомый черт, головою возросший под облака. И укладывается молитвенница наша в домовинку, и ручонки тряпошные скрестит, и в холодеющие персты свечу воткнет, не чуя боли от горячего воска, и, смежив очи, сама себе воспоет псалмы, слыша, как ласковой рукою прибирает ее Господь. Но, отлежавши и день, и другой, и третий, не выдержит страстотерпица наша монашеского подвига и, оставив гробок свой, побежит к соседушке-печищанке, чтобы поделиться нежданной скорбью, узнанной от нездешнего юродивого, вещающего о гибели Руси. А та, напуганная вестью, прикажет хозяину своему живо запрягать лошаденку и потащится в недалекий выселок к сватье на гоститву, и за привальной трапезой порасскажет о новом чуде. И так, из уха в ухо, из губ в губы, все Поморие узнает горестную весть о кончине сего века: и не ямщицкие тройки ее

разнесут от яма к яму, не почтовый голубь, не царский бирюч и не воеводский пристав, но сам русинский воздух вроде бы наполнится тем слухом...

И пугаясь пуще всего скверны еретической, и нового вертепа, и посылки бесовской по ветру, когда лишь взгляд на кощунную церкву, отрекшуюся от старинного креста, невольно испротачивает и душу, уstraшенный поселянин примется спасать себя сам, в своем лишь сердце ухичивая и обихаживая собственного Бога. И вот одни на воду веруют: соберутся в избе, поставят чан с водою и ждут, доколе вода не замутится. Другие девку нагую в подполе запирают, да потом и кланяются ей, как Богородице. Третьи говорят: «не согрешивший спасенья не имат» – и стараются грешить, чтобы после отмаливать. Есть и такие, что голодом себя замаривают. А то и молятся дыре в стене, вынув из нее пятник, иль старой березе в лесу, иль пню смолевому, иль Христу, сошедшему с небес и воплощенному в однокоренце, иль Духу Небесному, иль кресту пятиконечному разбойничьему. Эх... стоит лишь однажды скользнуть вниз с пути истинной веры, подвергнуть осмеянию лишь одну-единственную букву «азь» – и того пути вниз с ледяной горы в самую пасть дьявола ничем не остановить. И вот уже новые псалтири и часовники, разосланные по церквам Никоном, преданы анафеме, и всяк по своему уму из ветхих писаний составляет свой «цветничок» покаянных молитв и, где-нибудь заблудившись в таежной кулижке и вырыв там нору, тянет спасительный канон. И разбрелись по Сосьве, и Лупье, и Колве, и Суне, по Керженцу и по Выгу смятенные люди душу свою сохранять от гибели. Говорят: де, нынче и в пещерицах обитают пустыnnики, верша подвиг: в одной из таких печур денно и ночью свеча горит, а чьей рукой возжигается, то лишь Богу ведомо. В этих скрытнях люди без одежды ходят, питаются травами и промеж собой не общаются...

Дал гранит веры паутинные трещины, и туда проточилась влага сомнений и гибельный ветер гордыни, когда всяк захотел своим умом прожить и по-своему прочесть Священное Писание. Давно ли Никон воссел на патриаршью стулку, а уж закрутился по Руси вихорь, и в тот клуб дымящийся, как листьев по осени, много закрутило православных душ, коим, пусть и безгреховным, уже рай заказан; и в какую бы пустыньку ни забились они, а уж всё – отвержены от единого тела Христова. Спеша, блаженный Феодор Мезенец, ускорь по земле шаг, чтоб возвестить: «Един Бог, едина вера, едино крещение, один путь спасения...»

Страданиями своими прозрел блаженный: стали вовсе неважными христианам почину и мечтания Никона, ибо их превозмог страх грядущего суда за измену досюльным заповедям; потому и уши оказались закрыты и для добрых слов, исходящих от святителя.

Вся Русь, казалось, оценивала, а после медленно начала откатываться от престольной, погружаясь в себя и занимать круговую оборону.

...В Шуйской селитбе дали Феодору компас-маточку, проводника, и за седмицу терпеливого ходу достиг он Кирилловой пустыньки на Суне-реке.

Четыре лета не виделись, а как вечность минула.

«Правда ли, нет, – домогался Феодор у послушника, – что новый учитель ваш безумен и предан дьяволу? Ходят слухи, де, сушеным детским сердчишком причащает вас и тем порошком к сатане привадил?» – «Враки, отче! От злых недругов косоветки. Мы нашего учителя не похулим. Твердого, святого жития». – «А куда прежний-то девался?» – «Сошел от нас. Преставился. Сам травичкой одной питался и нам наказывал. А травки поемши, не шибко поклонись», – немногословно отвечив парнишонку и даже как бы напугавшись искренности своей, не сболтнул ли лишнего, и при всяком новом вопросе торопливо набавлял шагу. И понял Феодор: железной рукою ведет новый настоятель обитель.

Из редких весточек на Мезень от отца духовного ведал Феодор, что старец Александр, зело наскитавшись по Сибири, сыскал пустыньку по Суне-реке и привлек к себе истинным богомолением изрядно учеников, но с монахом Кириллом раскочились.

Два лета жили душа в душу, а после начались нестроения в скиту, ибо от глухой ухоронки завелись у нового келейника сердечные черви и принялись его люто грызть. И сказал инок Александр основателю пустыньки: да, ты, старик, здесь уже семьдесят годов прозябаешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое большое дело затеяли, а чихнуть боимся. Еще где у черта становой пристав свой запах даст, а мы уж, как зайцы, по кустам попрятались, дрожим, чихнуть боимся, как бы власть за хобот не прищучила. От антихриста хоронимся, зажмуря глаза, ускочиваем в лес, так как же истинную веру защищать думаем? А мы вот так себя поведем отныне, чтоб шиш антихристов и носа сюда боялся показать да обходил нас стороною верст эдак за сто и другим своим прислужникам сюда путь заказывал. Вот я на Пилве-реке был: крепко и стойно живут там старцы, твердой рукой правят, стороною всей завладели, а ты лишь смущение вокруг себя сеешь.

Только заплакал, застонал старец. Понял он, что люто обманулся в пришлеце, приняв волка за смиренную овцу. Четыре завета должен соблюдать монах, входя в монастырь: радети о том, чтобы исполнить обещание, творити то, что повелевают, есть то, что дают, не быть печальному, егда наказывают. И все четыре урока не пристали к иноческому сердцу. И тогда сказал старец Кирилл: «Вижу, что стар я стал, а больше того неугоден вам. Знаю я, чего тебе хочется, отец Александр. К бабам тебе хочется, похоть свою утолить из сосуда дьявольского. А коли так, полно вам меня настоятелем держать, выбирайте себе другого».

На тех же днях не вынес измены, помер старец. И как в воду глядел. Заселился подле пустыньки на новинах Мокей Зюзин с бабами, а там и иные потянулись семьями к реке, чтобы вместе держаться за старую веру...

Невнятны, призрачны страннические ходы, а приметы их ведомы и видимы лишь очам сердечным. Много тайных и явных путиков и троп на Руси у богомольников, и всякая начинается и кончается у часовни. Как бы круг золотой ради Спасителя замыкает поклонник, а ключ его в сердце праведника.

...Душа-то всегда подскажет, коли слушать ее.

И вдруг запелось: «На-у-чи-и меня, мать-пустыня, как Божью волю творити». Феодор даже подивился своему сладкому тонявому голосишке, такому чистому и прозрачному сейчас, как лазоревая купель меж вольно гулящих по небосводу древесных вершин. Где-то невдали в лад юродивому проблеял лесной барашек и свалился в болотистую низинку. Сами собой побежали ноги. Спутник куда-то пропал, да и полноте, был ли вовсе? Сиренево цветущие мхи с бархатно-коричневыми куполами вешних грибов, будто облитых медом, ложились под босую ступню, как шемаханский ковер. У лесных бортей слитно гудели пчелы, брали первый взятки. Пахло нардом, кипарисом, елеем, словно бы невидимый дьякон окуривал торжественный путь монаха; будто приблизились не к северной реке, только-то освободившейся ото льда, а к великому граду Иерусалиму, что вот-вот должен показаться пред очию, как Китеж из озерных вод, открыться яркой негасимой свещою из зеленого, таинственно-мерцающего полога. Почти рядом пролилась по камешку речная струя, и Феодор с ликованием принял конец пути. Земля как бы раздалась, расступилась, и меж двух рыжих холмушек, увенчанных жарким сосенником, на дне распада показался ухоронок. Сверху скит повиделся большими темными валунами, и серый крестик крохотной луковички на часовне совсем потерялся на островерхой крыше. Что-то тревожно кольнуло Феодора, но псалом в душе был столь ликующ, что мимолетная тревога тут же и потухла. Феодор пал на колени, поцеловал грудь матери-роженицы. И молча воспел Иисусову молитву. Потом торопливо, боясь опоздать к вечернице, спустился в распад, толкнулся в незаметную дверцу.

Внизу скит оказался крепостцою; за высокими палями из вбитого заостренного чешнока, плотно уставленного стеною, нельзя было не только разглядеть келий, но и услышать, что происходит во дворе. За такой стеною хорошо творить грех. Феодор прислушался: было

немо за городьбою и как-то устрашило духу. Юродивый перекрестился и снова прогнал прочь неведомый испуг. «Не обманулся ли, часом? – подумал. – Не бес ли вадит в теснинах своих, чтобы уязвить меня зело?» Да нет-нет... тот же проводник уважливо встретил во дворе, поклонившись земно, провел через сени в избу и снова пропал. Феодор принялся у порога и почуял запах скверны. Он встряхнулся, как сиротский, случайно оприюченный пес. Взгрели цепи.

– Иди сюда, сын мой верный, – позвали из-за полога, разделяющего избу. Феодор возликовал, отпахнул резко тафтяную завесу и поначалу растерялся. По обеим стенам во всю их длину на тяблах и полицах стояли золотые иконостасы с десятками изумрудных елейниц и толстых, с руку, свеч: свет острыми копьями рассекал жило, и там, где скрещивались лучи, в воздухе, слепя инок, висели иерусалимские звезды.

– Господи помилуй! – воскликнул Феодор со слезою во взоре. Ему почудилось, что угодил он на горнее седалище, и это от самого Христа, от его десниц, очей и плюсна источается такой небесный врачующий свет, коего не сыскать во всей поднебесной.

– Ступай ко мне, сынок! – снова, уже требовательней, нетерпеливей воззвали из глубины избы. Инок шагнул сквозь звезды, и, казалось, холщовый кабат его возгорелся, и жар тот напитал каждую телесную жилку.

Клеть была без окон. В переднем углу моленной висел в цепях распятый человек, в растянутых руках он держал по свече. Внизу на примосте возле ног старца сидел, пригорбившись, юный монашек и читал минеи. Черная ряса была пришита к скуфейке, и юроду увиделся в полумраке лишь мягкий полукруглый очерк скулы. Не особенно любопытствуя, зная перед собою лишь Учителя, Феодор торопливо упал на колени и облобызал босые ступни старца, какие-то гладкие, прохладные, вроде бы вырезанные из грушевого дерева, пахнущие елеем, и воском, и сандалом. Отрок по-прежнему мерно, текуче читал житие святого пророка Амоса. Ангельский голос!.. «Воистину в раю перед Сладчайшим», – умиляясь, подумал Феодор и споднизу, мельком, совсем случайно взглянул кроткому ангелу в лицо и вздрогнул. То была отроковица, совсем юная монашеница, сладкая ягода виноградная, бледная как полотно, с набухшими, слегка косящими глазами и червлеными, безвольными набрякшими губами. И снова пахло на юродивого гибельным соблазном, словно в вертеп к блудодейцам угодил ненароком. «Ну да полно-полно крѣтять, на пустое блазнит», – остепенил себя Феодор, но с колен подниматься медлил; он пугался взглянуть на Учителя, упорно прятал глаза, боялся встретить чужое обличье. Да и долго ли спознаться в сумерках? Может, и не девка то была, а бесова картинка. Но Учитель отверг сомнения. «Ступай, ступай, дочь моя, – велел с кротостью в голосе. – Да велика-ка стряпухе собрать на стол».

– Аркан не таракан, хошь и зубов нет, а шею ест, – молвил старец Александр и довольно ловко высвободился из цепей, сунул ноги в валяные калишки и, не глядя на Феодора, пошел прочь. Старец не переменялся с годами, лишь чуток подзасох да широкие прямые плечи приобвляли: под белой шелковой котыгой, подпоясанной пестрым вязаным кушаком, шевелились упрямые лопатки. – Другой раз и сутки так виснешь, иное и седмицу, – кинул за спину, вроде бы ненароком похваляясь подвигом. – А ты вон каков! Ты было даве заснился мне, я позвал тебя, и ты пришел! – Учитель мягко, вкрадчиво засмеялся. – Ты сын мне. Я бог, а ты сын, – добавил будто шутейно...

– Спутал ты мне весь ум, отче, – признался Феодор. В теплых сенях подле печи уже стояла шайка с водою и низкая скамеечка. Настоятель опустил на сидюльку, осторожно принял в ладони чугунную синюшную ступню страдальца, провел теплым вехотком: блаженство растеклось в груди, и странник едва не застонал от счастья. Но тут же насуровился, с пристрастием уставился в макушку старца, уже сивую, с тонзуркою на темени, тщательно выскобленной: кожа на маковице была желтой, туго натянутой, и от этой репки истекало тепло. Старец вдруг поцеловал плюсну юродивого и спросил шепотом:

– Сердешный мой. И туго, знать, было?

Старец Александр, словно подпадая под дух юродивого, прислонился лбом к чугунному кресту на груди Феодора, остудил внезапный жар, волною приступивший в голову. Юродивый молчал, покоряясь ласковым рукам старца: так бережно и ловко обихаживали они ноги страсотерпца.

– Иль забыл? Это я тебя позвал. Ты малой тогда был. Отец чуть не прибил меня. Запаямывал? – Старец притравливал, испытывал гостя. Юродивый снисходительно, со смутной полуулыбкой, чуя свою силу и власть, приопустил взор. Подумалось мельком: «Эх, батенько-батенько. И тебя укатали крутые горки». Старец не то чтобы вылинял, но как-то потускнел, едва ощутимый иней пал и на смородиновые темные глаза страдника, и на вислые усы, на струистые тощие пряди сквозной бороды: весь облик припорошило неощутимой смертной пылью.

– Поначалу-то да... – встрепенулся Феодор. – Поначалу-то ноги – как коченья мерзлые. По калыхам-то бум-бум. Как пест в ступе. В избу-то войду, как начнет ноги рвать, аж сердце займется. Пожмусь, пореву, ажио в крик. А после и отойдет боль. А потом и легче, и легче, и перестало болеть. Изболелось, Христа ради. А вы тут как? – Феодор строго посмотрел духовному отцу в глаза, и тот воровато, смутясь, вдруг приотвел взгляд.

– А вот, сам видишь, – развел руками. – Боронимся от дьявола...

Потом сидели за столом: уже все было уряжено да обряжено. Стряпуха средних лет подавала кушать, но трапезою настоятель лишь подтверждал монашеский подвиг. Даже за ради странствующего гостя были поданы лишь груздочки тяпанные с постным маслицем, да горошек-зобанец, да редька кусками, да кисель брусничный. Нет, тут не потрафляли плоти. Настоятель же отпил кисельку, со тщанием оправил рушником усы, но этой мелочью внезапно и выдал любование собою. Они вели разговор обрывисто, недомолвками, наверное, боялись заговорить о главном, хотя оба понимали, что занимает и гнетет их.

– Ведь чужую славу на себя переимываешь, – сказал юродивый, запивая трапезу квасом.

– Да что ты мечешься, как шелудивый от блох... Веком на себя чужого не примеривал, – обиделся старец. – Знай, и Христос был человек.

– И не боишься, что черти в бочку с гвоздьем утолкают?

– Я чертей не боюсь, сынок. Я Господа своего боюсь, Творца и Создателя, Владыки. А дьявол – эка диковина, – натянуто засмеялся старец, но в темных глазах зажглись волчьи огоньки. Не по нутру было, что столь назойливо допирал пришелец. – Чего дьявола бояться? Бояться надобно Бога. И так мы с ним до пристанища ладно дойдем. А ты-то, юрод, чего ко мне прибрел? Чего такого ищешь? Какого своего Бога потерял? И как станешь искать то, чего не знаешь вовсе? Ты к батеньке своему прильни душою, а он тебя не выдаст.

– Душа моя скучает о Господе. Как я могу не искать Его? – просто ответил Феодор, и в бледно-голубых глазах его зажегся свет. И старец услышал в голосе особую силу и возревновал к гостю.

...Эх, старец-старец... Когда-то ты возмечтал Русью править, самого помазанника Божьего возжелал заместить на престоле, кащей сын; и так все ладно приклеивалось в твоей буйной голове за басурманской спиною, когда ночами выстраивал рати под свои знамена и спроваживал их к престольной. Во снах-то и всякая несурязица клеится да ладом течет, как наяву, а в жизни и друзьяки верные, крестовые братья в разброде толкутся, измышляя измену... Гляди, даже пустыню, малой обителью управить – и то за великий труд. Вот явился с бела света взбалмошник, бездельник и плут, что самолично вознес себя в юроды, в Христовы вестники, а для тебя уже и он за язву, и ты не ведаешь, как умилизовать его.

– Ежли душа истинно знает Господа, закоим искать его? С того и старая вера наперекос. Ну ладно, ладно...

Старец порывисто принакрыл узловатыми пальцами, унизанными перстнями, сухонькую, изветренную лапку инока, как дворового воробья, словно бы слышал биение его всполошившегося сердца. На тыльной стороне ладони увидел юродивый белесый следок с паутинчатыми кореньями, ход наружу от бывлой сквозной проточины. Не от гвоздя ли язва? От руки старца шел плотный, успокаивающий жар. Феодор призакрыл глаза, и его обволокло умиротворение. Спать, спать, спать, – нашептывал кто-то незримый. И сквозь дрему, сквозь завесу сухого жара протыкивался издалека баюкающий голос Учителя:

– Вот знай же, милый, какие в подозрении дела, чтобы не угодить случаем лбом о спичку: гишпанская простота, итальянское учтивство, польский чин, прусские шутки, датское государствование, английская вольность, французский стыд, немецкое покорство, шкоцкое отдыхание, московское слово, турецкое супружество, жидовское обещание, арианская вера, цыганская и волошская правда... Скажи, тебе дочь моя поглянулась, сынок? – вдруг спросил с вызовом старец. Феодор непонимающе открыл глаза: Учитель, опершись локтями на стол, с охальством подмигнул чернцу. – Ну... Хиония.

– Искушаешь, отче?..

– Да что ты... Слышу, как спросить хочешь. Отчего, де, девки вокруг. А я вот так: легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с врагом живым. Иль трепещешь?

– Опять искушаешь! Адам не сам впал в грехопадение, а через Еву. Оно и выходит, что баба всему на земле злу причина и корень. А терниев корень не вем где прорастет, ежели дашь ему волю... Прости, отец, прости! Жесток ты в вере, воистину велик. А я червие малое, и я убоился. – Феодор заплакал, всхлипнул, по землистой щеке, оставляя белесый ручеек, скатилась слеза. В неряшливой бороде узкий рот западал, как в яму, и слова истекали глухо, будто из чрева. – Прости. Усомнился и на худое погрешил.

– Чадо ты мое, чадо малое. – Старец неожиданно погладил юродивого по голове. – Да милуют тебя всяческие кручины...

Изба сотрясалась, ходила ходуном. За окном полосовали, рвали сырую темь молоньи, бычий пузырь вспыхивал голубоватым искрящимся светом и снова затворялся мраком. Робко, но ровно мерцала елейница под образом, завешенным пестрым покровцем. Юродивый не раздвинул завесу, но к залубеневшему пестерю приставил иконку Пантелеймона-целителя и долго, с истовостью молился, порою кидая испуганный взгляд в окно, где расходилась непогода... Эко разыгрались демоны, осадили православную крепостицу, нороят взять приступом, Феодор порою заглублялся в молитву, утекал в нее, и тогда за деревянной досточкой в ладонь величиною, через лик святого, как бы сквозь берестяной кошуль, проступал вдруг облик Христа, улыбочивый, ясный, без грозы в очах, но с ободрительной мягкостью во взоре: де, обопрись на Меня, сын Мой, Я подле, Я пасу тебя.

Под кожаными оплечьями осклизло, крест при земных поклонах хлюпал о грудь, выжимал из нее стон. Феодор уморился, и вместе с тягостью сошла на сердце благодать. Феодор растянулся на полу, дав себе знак шибко не залеживаться, встать на ночную молитву. И сразу пал в сон, легкий, нетревожный, когда все тело вроде бы и растеклось блаженно на досках, но душа-то бессонна, отворена для Милостивца, и на широких, подбоистых крылах готова залететь в неведомые пределы. И не слухом даже, но каким-то особым чувством, что постоянно сторожило за юродивым в его беспамятстве, уловил юродивый странный, протягливый вскрик, полный любострастной похоти. Феодор вздрогнул от ужаса, открыл глаза, не ведая, во сне ли померещилось или кажется наяву. Тут прощально вспыхнула лампадка и умерла, словно задули ее. И вдруг Феодор ощутил на щеке ровное дыхание, безмятежное, влажное, почти детское: рядом зашевелился неведомый и торкнулся в спину горячей упругой грудью. «Свят, свят, свят, Господи помилуй... отжени от мене нечистый окаянный помысл. О, горе, горе мне!» – взмолился Феодор; всю утробу его пронизало жаром, и молитвенный

жалобный воп не сразу одолел похотный огонь, растекшийся по чреслам, так что всякий уд застонал и вздернулся.

– Кто здесь? Эй? – спросил в темень. – Олисава, ты? – позвал посестрию и не удивился, ибо Господь все может. Он и из камня сотворит человека.

– Это я, Хиония, – продышало в затылок. Мягкая влажная ладонь вкрадчиво проскользнула по плечу, зашарилась на лице, запуталась в бороде юродивого, указательный палец, как змеиное жало, приник к губам монаха и замер. От пальца пахло скверною, любострастием. Напрягшаяся грудь вздрагивала, острыми сосками прободая юродивого сквозь хламиду, жаром телесным припекала столь глубоко, будто корчился Феодор на печи.

– Изыди, грешница. Тьфу на тебя, чертово семя, – окстился Феодор. И хотел было локтем двинуть любодеицу, припечатать десницею, ошавить развратницу, чтобы вернулась в разум. И тут как бы небо разверзлось, и в сияющей голубизне явственно высеклись багряные письмена: «Легко бороться с врагом зарезанным, а ты поборись с живым. ...» Зрит Спаситель, все видит. Испытует, каков я истинный и глубоко ли грех во мне. И неожиданно успокоился Феодор, зальдился, и недавнее томление отпустило разом.

И ветер на воле, предвестник близкой грозы, тут же стих, и в тишине ночи с мерным шуршанием посеял дождь, первые капли сыто скатились из потоки в кадцу, но вдруг ливень с плотным шумом ударил в стену и давай полоскать избу с прерывистым треском и хлопаньем, будто на воле мовницы выбивали холсты. И снова легко так стало на сердце, вольно, и гнетя отступила за порог. Феодор высвободил из бороды ладонь монашены, положил на верижный чугунный крест: тонкие персты затрепетали, словно бы их прижгли каленым шкворнем. То бесы, почуяв страшную погибель свою, устремились прочь за подоконье. Но юродивый пуще сжал пальцы извратницы, расплющил о крест, и тут блудодеица прынула телом в сторону, забила голову о пол. И, наверное, померещилось Феодору, что за стеною засмеялись, кто-то вкрадчиво прокрался к двери, и сквозь стену проточилось через невидимый зрак гибкое пятнышко света.

Феодор сел, насторожился. Да нет, причудилось, звать: по-прежнему с хлопаньем и шумом изливались небесные хляби, земля скрылась под водою, изба стронулась и поплыла к неведомым вратам, как Ноев ковчег. И возрадовался юрод, что пред концом света победил в себе любострастного змия, вырвал прочь похотливое жало. Ладонью он нашарил впотемни голову несчастной, погладил ее теплые потрескивающие волосы, рассыпающие голубые искры; Феодор приласкал несчастную, как отец прижимает заблудшую дочь свою. Монашена поймала твердую ладонь инока и поцеловала, обливая искренними слезами. Горький камень рассыпался в гортани, и Феодор тоже желанно заплакал, сглатывая сладкую влагу умиления... О, Боже, я, червь ничтожный, земно кланяюсь Тебе, что не запечатал Ты во мне родник слез.

– Ой срам-от, какой срам, – нарушила молчание монашена.

– Немошная чадь, сосуд греха, кокушица горькая. И келейная ограда не боронит от бесов, ежли в своем сердце оставила лазы. Иль по чужой воле приняла ты, юница, ангельский чин?

– Ой срам-от, какой срам, – повторила черница и рванула ворот исподницы.

– Эк тебя мучит да корежит. Иль душу готова убить? Постегать бы тебя надо, – жалостно, не повышая голоса, приговаривал Феодор, не сымая баюкающей руки с головы монашены. – Ступай, дево христорадное, и проси Господа... Грехов буря настигла и чуть не перевернула корабль чистоты. Покрыло нас помрачение, но будь крепка. Воссияет Пречистая, избавит нас от потопления. Ступай-ступай да прикинь на себя урок послушания, отбей три тыщи метаний, и струпья соблазна осыплется с души, аки прах. А я за тебя с рыданиями молиться стану, ибо никто по всей земле не согрешил от века так, как я, окаянный и блудный.

Феодор растянулся ничком на полу и захлебнулся слезами, и в этом безутешном плаче вдруг забылся. Он очнулся, наверное, оттого, что перестал дождь. Последние капли со чмоканьем падали в переполненную кадцу. Каждый звук так ясно и зримо проникал с воли, словно бы растворились стены избы. Юродивый перекатился на спину, звеня веригами. В келейце никого не было, и ничто не напоминало о ночном наваждении.

Феодор выбрел в сени, стараясь ступать бесшумно. Пахло рыбной ествою. Будильщик-монах дремал у выхода. Над дверью мерцала елейница. Феодор выступил на крыльцо. Тяжелое небо прогнулось от грузной фиолетовой тучи, густая водяная пелена струилась в воздухе. Ближние березняки за городьбою в одну ночь принакрылись зеленым облаком. Земля расступилась, паря, и из очнувшегося чрева погнала травяную ласковую щеть, такую нежную для остаевших за зиму ног. Меж пальцев пыркала водица, и внешняя грязь была чудодейным врачующим бальзамом. Провожаемый тайным досмотром, юродивый покинул особножитный скиток, так думая, что навсегда, и, оскальзываясь на глинистой тропе, спустился в ложбину на сверток. За холмушкой, покрытой сосенником, как и даве, слышался перелив быстрой воды на камешнике и слитный гуд речного набухшего потока. Тропа вильнула за гривку, и взору неожиданно открылась утренняя река, похожая на дорогу в небеса. Трава плыла по ней клочами и спутанным волосьем, да всякий сор с бережин, и в коричневой толще воды, свивающейся в кольца, не просматривалось ее глубей.

Посреди реки увидел Феодор невеликий островок, густо усеянный обмелившимся серо-зеленым льдом. На самом юру, как дозорный на вахте, кособочилась одинокая келейка. Вдоль берега по отмелям в зипуне и высоких броднях сновал взад-вперед монах, волочил из протоки на сухое верши, полные хламу.

И вдруг островок этот почудился Феодору землею обетованной.

И захотелось остаться там.

Глава вторая

Меч суемудрия, волхвования и смуты будет нестрашнее меча бранного, ибо убивает не только семя и грядущие всходы его, но и саму веру в Сына, высевая по пажитям плевелы ненависти и розни.

А жизнь, лишенная Божьей крепости и цельности, похожа на расплетшийся берестяной пестерь, куда можно много всего сложить, но ничего не унесешь.

Подскажи, Иоанн Златоустый, своим прозорливым умом умиряющий огонь и воду: ежели весь земной суд Сын предоставил священникам, если они возведены на такую степень власти, как будто уже переселены на небо, свободные от житейских страстей, то откуль, затмевая все евангельское и несуетное, прорастает вдруг в них сквозь временные телесные одежды непобиваемый ветхий человек, самому сатане прислужник? Что за верные и благочестивые родители окормляют паству? Они, вроде бы желая блага сыну своему, тщатся, однако, разорить его вконец и надевают через плечо нищенскую суму. Какая цена пастырям тем? Какой дороговью, каким златом-серебром можно откупиться за то червие, что испускают пришлецы истиха из затомившейся души на православные церкви, и веси, и стогна, и торжища?

Тех людей на Руси исстари называли злоимцами и навадниками.

И верно ли, Иоанне, что священники определяют на земле, то Бог утверждает на небе? И тогда все содеянное из зломыслия тоже запишется в Небесный свиток?

Оле!.. и земному слуге своему не всякое дело укладывает Господь на добрую скалку весов.

И однако ж, какое высокоумие, спесь и гордоусие надобно тешить в себе, чтобы, кормясь из чужой горсти, сыскивая на стороне приюту, приклону и защиты, вдруг однажды позабыть и чаемые милости, и честь, и вползти в гостеприимный двор, яко лисовин в курятник, и ну шерстить Русь, прикрывая злоумышление Священным Писанием. Прошак, давно подпавший под агарянина, позабыв родоу свою и прежние воли, не из потухлости ли своей и коварства ты покусился с такою легкостью на нашу святую старину. Ибо с тоской возревновав о своей туге, и кручине, и немощи, воспалив в груди жар презрения к чужому благочестию, ты и благодетеля своего, простеца человека, готов довести до разрухи зависти ради, только чтобы уравнять с собою в горестях и нищете.

...Двадцать четвертого февраля 1656 года (несчастный для Руси день) пришлые чуженины прилюдно в Успенском соборе прокляли в Москве всех ее насельщиков, крестьящихся по-заповеданному двумя персты, а значит, и всех угодников Руси, ее святых, защитников, и праведников, и святителей, и мучеников, и устроителей, и мнихов-пустынножителей, и купечество, и князей благоверных, и ремесленников, и смердов, в свой час когда-то сошедших в землю. Как монастырский чернец учит мальчика начаткам грамоты, так и Макарий Антиохийский показывал именитым богомольникам, самой державе престола, как надобно слагать персты в поганую щепоть, и сербский патриарх Гавриил, уже по сговору с царем, охотно потрафлял наустителю.

О, Русь православная, сладко рекомая третий Рим, и неуж ты не почуяла глубинной, долготерпеливой, смиренной душою своей, как пришлецы-милостынщики ловко накинули ярмо на твою шею и повлекли в пропасть, словно негодную пададь: они с насмешкою покусились, несмотря на ропот прихожан, на самое заповеданное, с чем рождается и сходит в ямку всякий русский, искренно верующий в Господа нашего. Они покусились на знамение, на первую буквицу истинной веры. Угодники православные, Иона, митрополит Московский, Филипп-мученик, невинно убиенный святитель Петр, и неуж не сотрясли ваши нетленные

мощи в изукрашенных скудельницах, когда над вашими склепами творил анафему Макарий Антиохийский.

Это ведь перетряхнули в домовинке ваши медовые косточки и надсмеялись над ними, де, святости в них нисколько, раз не обрушились стены церковные на головы хульников, а значит, де, и вера ваша русийская не истинна. Но от кощун взялась невидимая волна горечи, ужаса и тоски по грядущим несчастьям и затопила Успенский собор, прободила стены и валом накатилась на стогны Москвы, потопляя смятением всякий дворишко, а после все-ленской рекою давай растекаться по селитбам, погостам и посадам великого царства, так угодного и милого Господу. Но знайте, навадники, занявшие чужой амвон: скоро, уже на запятках, грядет день, когда ради истинного креста бесстрашно войдет русич в костер, не убоясь великих мучений. И не то странно и кощунно, что поднялся мужик на защиту своей веры, презрев смерть и воспротивившись царю, но было бы вовсе худо и смертно для его души, если бы он, безропотно откинув за ненадобностью родителей заветы, вдруг безо всяких колебаний приткнулся бы к новинам, принял чужеземное лишь потому, что какие-то пришлецы, числясь в ревнителях истинной греческой веры, указали новую, только им открывшуюся истину...

Царь выступил из сени и, взойдя на сулею, поклонился Макарию, поблагодарил за отеческую науку, а после оборотился к богомольникам и окстился щепотью, сильно бия себя в лоб и плечи, да еще и с вызовом поцеловал свои персты с тем тихим умилением и слезливостью во взоре, с каким обычно припадал к образу Спасителя. И не случилось грозы, даже малым сполохом не означил себя Господь, не покарал еретиков, не раскроил на лоскуты своим невидимым огненным мечом, только вроде бы затхлостью, мертвечиной опахнуло в соборе, словно тухлой привады припасли в алтаре для праздничной гоститвы сатанаилу.

Но никто не осмелился покинуть службу, иные затаили рыдание, замирая в груди сердечный клекот, иные же глухо возроптали, стесненно вздымая голос и прячась в затенье притворра, куда худо доставал свет большого полиелея; ну а те, кто плотно окружал государеву сень в золотных шубах, подбитых соболями, и лисьих горлатных шапках, все царевы слуги-потаковники и челядинники Шереметевы и Голицыны, Трубецкие и Милославские, Морозовы и Сицкие, Головины и Плещеевы, Бутурлины и Годуновы, Стрешневы и Ртищевы, те, кто повязаны дружбой, службой иль кумовством, – они как-то воровато, поначалу несмело примерили к себе поганую щепоть, осквернились, закрыв глаза и боясь Божьего гнева, и одним этим знаменiem не только сплотились меж собою, пусть и временно, как заговорщики, но и еще более прильнули к государю, опередив других, струдились, скучковались вокруг государевой сени живой стеною.

И всякий из них не испытал смятения иль сердечной туги, не икнуло у него в черевах, не отдалось тягостью в душе, ведь сам помазанник Божий расчистил им путь измены: и ближние бояре с легкостью поменяли покой вечный на блага земные, смердящие. Ведомо же: каков поп, таков и приход; батько в лоб щелкает, а ты улыскайся, де, добро, нежно и сладко, как груша в патоке. Эхма... Бывало, царь Иван говаривал прелестникам: «Нам греки не Евангелие. Мы веруем в Христа, а не в греков». И был прозван за то Грозным. А ты, Алексеюшко, сталкиваешь Русь Святую во гноище и прю, а ишь вот, слуги твои верные за спиною кличут тебя Тишайшим, когда ты поддаешь им хорошего пинка пониже спины, чтобы не возгоржались. Это ты, Алексеюшко, прозвал Макария медоточивого своим батькою, от тебя пошла молва: де, я, государь расейский, за-ради греков отдам не только богатства, но и кровь свою.

А не ты ли, милосердный, увещевал своих подпятников во дни невзгод, де, покаянию, молитве, милостыни, страннолюбию не может никакой неприятель супротив стати: ни агарян, ни сам адский князь, все окрест бегают и трепещут. И своею же десницею переменял наиглавнейшую молитву Ефрема Сирина, кою сызмала впитывал в душу всяк русский отрок

и ею руководился до скончания жизни. Это как бы из-под родимого дома ты вынул стулцы вековые и подпер житье свое изопрелыми гнилушками, выдавая их за лиственничные колоды, запамятавав в сей миг: что переменено волею одного, то истлеет еще при жизни его. Веруй же: без молитвы нет милости, без милостыни нет страннолюбия. Вот и исполнилось Христово пророчество: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят».

...И ты, Никон, понапрасну таешь сердцем, улыскаешься всем старообразным, морщиноватым лицом, туго обтянутым вязанным из шерсти клобуком, радуешься, как дитя медовой жамке, не ведая, что близится то время, когда вот эти пришлецы-прелестники, что чествуют тебя, и величают великим государем, и ставят вровень с папою, а может, и выше его, с легкостью предадут, вдруг войдут папертью, попирая посохами черные железные плиты пола, как неколебимые праведники, карающие ангелы, посланники Божии. Ох-ох, потаковники, рано запрягаете лошадей и напрасно торопите, как бы вместо свадьбы не угодить на поминки. Значит, правду уж кой год молвят на Москве, де, патриарх Никон отступник, коли не затыкает рот пришельцам; значит, он воистину хочет искоренить из сердца самого Христа.

А ведь и дня не ускочит, Никон, как по твоей милости кровь прольется. В ближней подмосковной селитбе мужик перекрестит жену свою беременную и троих детей, которых в ту же ночь и убьет в убеждении, что новокрещеных мучеников удобнее отправить в рай. Поутру он сам явится в губную избу и объявит голове: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так они от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в Царстве Небесном мученики...»

Воистину тут ума лишишься и злодейцем станешь, коли сам первый святитель, отец отцев, заблудился меж трех сосен и сошел с тропы, кою самолично торил да проминал, почитай, полвека.

Широко громоздятся на амвоне три патриарха (два чуженина, а один – свой) в золотых ризах, будто копны просохлого сена под июльским полуденным солнцем, такой истекает от них свет, и зной, и благовония: три воплощенных образа Христовых, да меж них царь-государь в темно-синей однорядке, с наперсным крестом на груди и в парчовой шапке с собольим оком, словно бы гордоватый, но огрузнувший в неволе кречет, обвитый сизыми клубами ладанного дыма. Кади пуще, архидьякон, наводи пахучего туману, чтобы затмить дух смердящий, ибо трупищем окаянным запахло в церкви. И в этом чаде Алексей Михайлович походил не столько на Пилата, сколько на воина в железной шапке, что вместо воды поднял на копье к губам Спасителя губку с уксусом.

Иноземные патриархи в белых шелковых камилавках, лоснящихся от верхнего света, глаза как спелые маслины; Никон на голову выше их, словно ворон, иссера-смуглый, принахохленный, присогбенный, чтобы не выпячиваться среди иерархов, крутые скулы обтянуты черным шерстяным клобуком, скуфейка вязаная, как мисюрка, туго надвинута на самые брови, отчего у патриарха лицо воина Христова и монаха-аскета; взгляд строг, неулыбчив, нижняя губа презрительно выпячена. А в душе-то смятение. Ему страсть как хочется уравниваться с гречанами, в ризнице уже давно припасен белый клобук с камилавкой.

Не чудилось ли ревнивцу, когда примерял камилавку в опочивальне перед зеркалом, приминая ладонью верхнее донце, что в новом уборе он не только не мужик, но уже и не русич-монах, а воистину великий грек, глава вселенской церкви, – такой царственный свет величия накатывал от длинных плавных белоснежных воскрылий. И вдруг позабылось стародавнее, сокровенное, о чем возгоржалося и не раз ратовал в беседах со Ртищевым; де, истинная вера православная стоит на сугубой крестьянской правде; де, может монах приплыть на камне из Афона; де, у настоящего верующего никогда не бывает сомнений в том, ибо и через окиян-море, если захочет того Господь, может переплыть на камне праведник. А

ежли колебнулся кто, на грош один засомневался – и поехал человек в тартарары на вечные времена...

И вот самому Никону нынче до жара утробного возжелалось и внешне перемениться: русские одежды нестерпимо стесняли стали. Он вдруг почувствовал себя обделенным, почти униженным, это он оказался чуженином среди патриархов и был не в золотых ризах, но в залатанной сермяге. И улучив миг, когда пришло время для сокровенной беседы в конце литургии, когда вынесли стулку с книгою поучений, Никон особо, как сговорились, кивнул Макарию: сириец ненадолго отлучился в алтарь и принес клобук на греческий манер. Одно искушение всегда тянет другое: поддался, потрафил гордыне, позабыл душу, а там, глядишь, и оседлает нечистый.

Макарий нес клобук на обеих вытянутых руках, как пасхальный кулич, и вышитый золотом и жемчугом херувим готов был слететь с шелковой камилавки. Макарий приблизился к царю и сказал: «Государь, нас четыре патриарха в мире, и одеяние у всех нас одинаковое. Если угодно твоему царскому величеству, я желал бы надеть на него эту камилавку и клобук, которые сделал для него вновь, чтобы он носил, подобно нам». Царь ответил с благожелательной улыбкою: «Батюшка, добро».

Он не удивился, но вдруг вызвался сам обрядить собинного друга и старательно вздел камилавку на его крупную, кочаном, голову, приподнявшись на цыпочки, а после по-хозяйски, как бы невесту обряжал, расправил воскрылья по плечам и вдоль впалых морщиноватых щек и трижды расцеловал патриарха, как ровню себе, накалываясь губами на жесткую кудель бороды. Собор ахнул, дивясь столь скорой перемене на Руси. Как только земля не поколебалась под Никоном? – вздвигали соборяне. – Все вроде бы по-московски одевался, а когда, в какой час вдруг сделался греком? И царь-батюшка отчего-то мирволит такой измене и щедро одаряет святителя ласкою.

И возроптали иереи, и настоятели монастырей, и священницы, и миряне. Но что для государских ушей трус и волнения подпятных холопишек, что ежедневно толкутся у спального крыльца, дожидаясь крох с хозяйского стола. И тут всякий богомольник вдруг расчувствовал непонятным образом для себя, как что-то сокровенное потухло не только в православной вере, но и во всей русской мирской жизни, когда все, как бы ни чинились друг перед дружкой, как бы ни кичились службою и родом, но все одно оставались братьями во Христе. Ибо церковь покрывала их одними пеленами, и Господней щедрости хватало на всех.

...А тут случилось, что царь с Никоном, обнявшись, не только церкву присвоили себе, но и самого Христа заключили в особую золотую клетку и закрыли дорогими запонами.

Как потомки Измаила, сына Авраама от Агари, стали непримиримыми врагами Израиля, так и православие уже несрастаемо во веки вечные с папизмом, ибо не для русской крылатой души латинская уряженная темничка...

...Кто надоумил, кому пришло в голову выстроить на Руси Новый Иерусалим? Может, как священнику Захарию, явился ангел с уведомлением о сыне, так и государю приключилась небесная весть? Была Москва издавна, как подпал Восток под агарян, крепостью православия, третьим Римом, сладким гремучим студенцом, и этого благодатного питья, этого сикера хватало русскому насельщику, чтобы терпеливо сносить всякое нестроение и кручину. Если в других землях живут люди поганные, не верующие в истинного Бога, погубляющие душу еще при сей жизни, то как радостно скончать свой век в родном куту, на родовом жалънике, ибо от ворот только русского погоста душа отправляется прямо в рай.

Но много развелось на миру бегунов, потаковников, смутителей, шептунов и развратителей, кто не суть Божию ищут, но лишь себя: иные из них, не стыдясь и не рядясь, со своим бесстыдным норовом перебежали в русские земли и давай сеять плевелы; и зная, надули в уши государю много лъстивых обманчивых слов, ежели вскружилась голова у Алек-

сея Михайловича и пришло ему на ум построить в Московии Новый Иерусалим, посадить священный благоухающий народ на северной земле, словно бы с Руси изошло христианство, разрослось богатым мировым деревом. И в патриархе Никоне сыскал он подпятника чаяниям своим и радетеля, коему мало того небесного Иерусалима, к которому всякий верующий приступил еще в этой жизни и остановился у его врат, и лишь перевоз через реку смерти отделяет от обетованного рая. И мало было устроителям горнего храма того чувства, что приидет на землю то время, когда всякая нужда в храме земном отпадет, ибо сойдет с небес сам Бог с Агнцем своим и будет и храмом, и царством.

...Никон скоро сыскал под Москвою на высоком берегу Истры то заповеданное место, что удивительно походит на священную Палестину, словно бы сам Господь задумал и повторил каждую впадину и холмушку в затаенном уголке северной страны, отстоящей от родины Христа за многие тыщи поприщ. Наверное, Спаситель в тонком сне привел Никона за руку и указал: строй здесь! Старец Арсений Суханов из южных земель привез чертежи иерусалимского храма, и патриарх взялся за дело с тем рвением, кое всегда овладевало Никоном, когда он брался за предприятие провиденческое. С праздника Богоявления, угнетенный неожиданной ссорой с царем, он уехал на Истру-реку и поселился в деревянной временной келье в бору, срубленной для патриарха и окруженной для уединения тыном.

Триста приписных мужиков возили кирпич, гасили в ямах известь, рубили избы, рыли подвалы, и средь горячей стройки, у лабазов и насыпих, у варниц, и костров, где кипела смола, у речных бронниц, куда спешили насады с кирпичом и лесом, где звенели топоры, вязали срубы, гатили дороги, у ближних тоней, где рыбаки тянули невода с лещом и судаком и щукою для трапезы, – везде Никон был своим, хлопотливо-деятельным, то ершистым и гневливым и скорым на расправу, то насмешливым и печальным, и мало что напоминало в этом долговязом, супистом мужике патриарха всея Руси. Он был в долгой рясе, подбитой хлопчатой бумагой, откуда выглядывали огромные, на медвежью лапу, рыжие переда телячьих сапог, и в овчинном треухе, опоясан кожаным твердым фартуком и с кожаными оплечьями для деревянной козы, на которой Никон таскал кирпич. Он был весь запорошен коричнево-смуглой пылью, и даже густая борода, и подусья, и подскулья, где скопилась глиняная тля, отсвечивали охрою, да и сам-то взгляд, обычно темна, изнутри, стал вдруг красноватым, сполошистым, будто в глазах зажглися становые костры.

В ста пятидесяти сажнях от монастырской стены, на самой круче Никон заложил себе отходную Пустынь в четыре яруса, в виде башни с витой внутренней лестницей и малыми келейцами, и двумя церковками; и вот, благодаря Божьему промыслу, с тремя оброчными каменщиками нынче перешли на последний ярус. Со ступеньки на ступеньку, как по лестнице к Богу, Никон подымался вверх с пятипудовым грузом, не давая себе поблажки, несмотря на годы, унимая гулко бухавшее сердце. Порою он опирался плечом о шероховатую от застывшей известки стену, передыхал на подмостях, когда-то безотказные ноги подгибались, становились ватными, жидкими. Вот и нынче вечером, после послушания, придется ублажать остамевшие, припухшие ступни в горячей воде, выгонять из утробы через плюсны холодные соки; узловатые жилы на голених, посиневшие жгутами, уже худо проталкивали кровь. Полвека дал Бог жизни, экое счастье! Укатали сивку крутые горки. А давно ли был, несмотря на посты, и радения, и долгие изнурительные бдения, на непрестанные службы, здоров, как лиственничный выскет, не ведал хворей, разве лишь глаза к утру натекали кровью. Скольких сам поднял на ноги, выправляя черева, изгоняя грудную жабу, и беса, и червей. И все молитвой, и святой водою, да Божьим изволом. Э-э-э... Всякому дубу свой век.

Никон поднялся на верхний ярус, опустил ношу, выгрузил из крошна кирпичи, разогнулся и, как-то безотчетливо забывшись, застыл, приотодвинув треух на затылок. «Отдохни, батюшко, замучился с нами», – сердечно присоветовал мирянин-каменщик и

ловко так, с прихлестом, накинул известковую нашлепку на кирпичный ряд. Никон промолчал, полный неожиданной счастливой грусти.

Да, подумал, по всему видать, запарило, повернуло на весну с Благовещения, разве что под Вербное отдаст засиверкой: в распадках лишь кое-где просвечивали белые заячьи шкурки снега, а по буграм, сквозь серую ветошь прошлогодней травы, испроточенной мышами, уже топорщатся радостные мелкие зеленыя... Зима подобна мачехе злой и нестройной, и не жалостливой, ярой и не милостивой; ежели иногда и милует, но и тогда казнит, когда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и голодом морит, и мучит, грех ради наших. Такова уж зима, чего с нее возьмешь. Но весна наречется, яко дева страшная простотою и добротой, сияющая, чудна и прелестна, любима и сладка всем...

Никон из-под ладони обвел пристальным любовным взглядом русские просторы, овеянные сиреневым туманцем; далеко за рекою, на увалах, протыкиваясь сквозь дубравы и елинники, возносили островерхие главы церкви монастырей, они были как вешки, путеводные знаки на неторной тропе к Господу, и пока-то добредешь до ворот рая, весь измозгнешь телесно, но душа-то обрядится в золотые аксамиты; под берегом Истра кипела, напирала на креж, вымывала глиняные клочи, гнула ивняки, затопленные по пояс; зря, раненько хлопочут рыбаки, заводят невод, желая удовлетворить святителя, придется из сушняка варить ушное. На покотинах, заваленных хламом от убылой вешницы, стекленели под мутным солнцем разлегшиеся, как коровы перед дойкой, голубоватые на изломе льды. Глаза патриарха защи-пало, в них зажглась слеза, видимо, теплый ветер-обедник выбил соленую влагу.

Никону показалось, что он озирает мир не с вершины Сиона, но со дна глубокого колодца сквозь паутинчатую слюду; знать, оттого и небо, слегка желтоватое, походило на потрескавшуюся слоистую слюду, в трещинах отсвечивающую голубым. Господи, как все знакомо и желанно, вроде бы сам и побывал в Палестинах, а не наслушался со слов паломников. Вот Сион-гора, а под нею Иордан, а невдали Елеон-гора, а за теми селитбами при-затенились Вифлеем и Назарет. А где Голгофа, там пока сосновый борок, еще не выбитый рукою дровосека... Придет время, и всяк христианин потечет сюда с поклоном, как ныне спешат помолиться ко гробу Господню. И в славе будет не только сия святая обитель, но и вся Русь, и народы, населяющие ее. Глядишь, и строителя помянут незлым словом. Спасибо Господу, что надоумил возжечь в диком засторонке великую свещу, и от золотого ее сияния всяк поклонник изумится и ослепнет поначалу, а после и радостно восплачет, как плачу нынче я.

Никон провел ладонью по лицу, размазал слезы, смешал их с кирпичной пылью. Только бы успеть содейть наказанное, пока не помер. Только бы успеть, пока не спихнули с патриаршей стулки. Короеды точат...

Он не успел додумать. Ударили в деревянное било. Строитель иеромонах Иринарх звал к трапезе. Уже солнце садилось. Тишина сошла в мир. Вода в реке неожиданно потемнела, остекленела, как бы остановила бег. Каменщики доскребли раствор, вытерли руки о фартук, перекрестились на восток, подошли к благословению. Весь день ни слова, а тут сам покой понудил к неожиданному разговору. Мужики были из приписанных к монастырю деревень из бывшей Коломенской епархии епископа Павла, неведомо где пропавшего. Один молодой белобрысый увалень, стесняясь патриарха, пугаясь его, не смел поднять раскосых удивленных глаз; другой – в летах, нос утушкой, с простодушной негасимой улыбкой на круглом лице. Ладони, как загребистые ковши, тяжело обвисли, крестьянин не знал, куда девать руки.

– Благослови, батюшко, – попросил старшой. – Вон, к трапезе кличут...

– Власти монастырские не забижают? Могорцем иль ествою? Я в оброке вам польготить велел. Наслышан о вашей беде. С вами плачу. – Никон с отеческой заботой взгляделся в рыжеватое простецкое лицо трудника, в его незамирающую улыбку и отчего-то вдруг поза-видовал мужику, его несуетной жизни. Горький ком встал в горле и запрудил дыхание. И

снова запозывало заплакать. «Слава Тебе, Господи, – подумалось туманно, – отворил Ты мне слез родник». Патриарх не снимал взгляда с трудника: за мягкою солнечной улыбкой мужика он улавливал тугу и неутешную заботу. Помнил Никон, что в прошлое лето хлеба затопли от дождей, деревни и погосты по Истре подняло водою, недород и хлебная скудость крепко прижали монастырских. Кой-как перебились зиму на житных колобах да капусте, а нынче едва тянут животишко до новин... – Я приказал тыщу рублей польготить. Слыхали-нет? А то власти утаят, нынче Бога и в монастырях не шибко чтут.

– Спаси тебя Господь, святитель. Наша надея, защитничек ты наш, святой угодник. Век за тебя молить станем. Видеть тебя и то за счастье. Вон как убиваешься в трудах, себя не щадишь. Уж не молоденок, чай, – простодушно посетовал работник и земно поклонился.

– Ну, будет тебе... А еще велел я подводы ваши и работу поденную зачесть в оброк. Ладно ли?

– Да как не ладно, отец. Прижало: хошь волком вой. Обложили налогою – не вздохнешь. Да где наша не пропадала! Бог-то не выдаст, а? – Старшой утвердительно ударил шапкою о колено, выбив облачко рыжей пыли, напялил колпак на свалявшийся колтун волос – Нам бы день пережить, а ночью и свинья спит.

– Голодный-то, кажись, откусил бы и камня. Верно? По-дите, христовенькие, Бог вас не оставит. – Никон перекрестил трудников, провожая жалостливым взглядом.

...Упирайся, святитель, строй себе скудельницу, не ведая, что и эта затея будет вписана тебе в вину. Ибо бес твоего тщеславия вызвал на тебя бесов прельщения и зависти людей.

...Однако с тяжелым сердцем вернулся Никон в брусяную келейку. Была она срублена в засторонке, да еще обороненная чесноком со стрелецкою вахтой на воротах, так что шум табора не достигал сюда. Смирно было в келейке, неприхотливо; в углу образ Пречистыя Богородицы Взыграние Младенца в серебряном окладе; да у печи широкая лавка для опочивания с ларцом-подголовником устюжской работы с чеканкою по жести, тощий туфак с одеялом и сголовьищем свернут в трубу. Напротив на стене лубочная картина с изображением монаха, распятого на кресте, ноги чернца прикованы к камени с надписью «нищета». Служка Иоанн помог разоблоклиться до исподнего, протер тело святителя губкою под кожаными оплечьями и под верижным крестом; шерсть на груди курчавая, совсем поседателя, кожа в подреберьях пообвисла старчески, поиздрябла и посеклась морщинами. Но на просторных плечах можно еще молотить. Келейник молча принес дубовую шайку с горячей водою, вехотек и медный кувшин, встал на колени, перекинув утиральник через плечо, приготовился обихаживать патриаршьи ноги.

«Ступай, сынок. Не замай света», – велел Никон тусклым голосом. Туго прикрылась дверь, качнулась лампадка, слюдяное оконце в четверть листа окрасилось багрово, по нему вдруг пробежал трепетный голубой луч; зная, отразился от елейницы. Никон замер, прислушался к себе, еще не понимая причины сердечной тягости. Во все дни ломил на монастырской стройке, как вол, а нынче что-то надломилось в нем. Ему не то чтобы стало тоскливо или грустно, нет, он вдруг почувствовал себя везде лишним. Он, как воск на свече, оплыл на стоянец, потерявши державу. Отчего он здесь? Вся церква русская колыбнулась, как на крутой волне, течь дало суденко, напоровшись на каменистую коргу, а он, отец отцев, прозябает в ухоронке, как белка в гайне. Ох-ох, грехи наши тяжкие. И не странно ли? С такой радостью заехал на Истру, бежал из Москвы от царя, окунулся в заботы, как в кипящий котел, сам весь телесно поизустал, измозгнул каждой жилкою, таскаячи кирпичи, весь в нитку вытянулся, иссох на соленых огурцах да тяпанных рыжичках. И то сказать, великое предприятие строили, Новый Иерусалим распечатали от заколдованного сна. Как драгой блистающий камень-адамант, Господь спосылал горнюю церковь в суровый русский засторонек, в мед-

вежий угол, и свет от сокровища отныне потечет по всем языкам. Да, какому кораблю дадим плавание, и возле него русское суденышко, пустившее течь, сыщет укрепу и покой...

Все ладно, все так счастливо укладывается для Никона: ведь редкому человеку, может, одному из всех за долгий век приключится явить народу такое событие, кое не обмозговать, быть может, и в далеком будущем времени. И вот угар от затеи на время схлынул, и Никон почувствовал с недоверием, будто вручили ему эту стройку для забавы, отпихнули из Москвы за ненужность.

Глупцы, воистину глупцы, куриные мозги... Одни дикари лютуют, что я царя подпятил, у них кусок изо рта выдрал; другие – будто церкву рассек и душу вынул. А я славы для всех хочу, я дом Христов сострою, чтоб было где Ему царить. И пред тем не постою, все богатство мира пожертвую. Христос изошел из Израиля, но к нам приидет и будет государить тыщу лет, а после всю Русь с собою вознесет; де, паситесь в раю, православные, верные мои челядинники, гостуйте во честном вечном пиру. Эх, куриные мозги, встряски вам мало. В головах-то мозгов что в задницах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.